



Борис Горзев

**ДВА РОМАНА  
О ЛЮБВИ**

# Борис Аркадьевич Горзев

## Два романа о любви (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8686507](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8686507)*

*Два романа о любви: «Геликон Плюс»; Санкт-Петербург; 2014*

*ISBN 978-5-93682-964-2*

### **Аннотация**

В новой книге Бориса Горзева два романа – поменьше и побольше. В том, что поменьше (здесь первом), действие происходит во второй половине XX столетия на фоне реальных исторических событий, но речь там о любви. И в другом романе, уже сугубо современном, речь о любви тоже. Но если в первом романе – драматический психологизм, то второй роман плюс к тому насыщен элементами триллера и детектива; там не без неожиданностей и совершенно непредсказуемых поворотов. Но все это – интеллектуальная литература, поэтому при всем контрасте оба романа вполне уживаются под одной обложкой.

# Содержание

От издателя	4
Петер и Петра	6
Часть первая	6
Часть вторая	81
Часть третья	142
Конец ознакомительного фрагмента.	146

# Борис Горзев

## Два романа о любви

### От издателя

Всякий талантливый читатель испытал – и неоднократно – эффект узнавания, или, как сформулировал, возможно, самый талантливый из читателей – Аристотель, «комфорт узнавания». Книга может быть одна и та же, но этот эффект узнавания у каждого читателя свой. При одном условии: книга настоящая. Причем, «настоящая» не означает «безукоризненно написанная» или «идеально выстроенная», но в ней должно быть что-то такое, что заставляет струны нашей читательской души звучать в унисон. Это чудо происходит, но у всякого оно свое, личное и отличное от прочих восприятий.

Разве Борис Горзев говорит что-то новое о русской литературе, о любви, о верности своей судьбе? Нет, не говорит. Я же все это знала... Но одно дело знать, другое – передать словами так, чтобы зазвучала нужная, та самая струна. Вот тогда и возникают параллели и пересечения с личным, сокровенным, рождается чудо сопричастности.

Романы Горзева поразительны по эмоциональному воздействию, удивительно пронзительны, трагичны и деликат-

но-умны: с читателем говорит (как читателю комплиментарно представляется) «равный». Даже заимствования (языковые и сюжетные) кажутся органическими. А что до морали, этической идеи – сейчас такое честное и внятное письмо не вдруг встретишь. Остается только завидовать и аплодировать автору. Плюс прекрасные не сразу уловимые композиционные повторы и параллели; архитектура романов стройна, как католический собор.

Это романы о любви, хотя и не только, но о любви в первую очередь. Не раскрывая сюжета, кратко: в судьбу героев «Петера и Петры» вмешивается «Пражская весна», а герой «Итальянского романа» пострадает во время теракта в аэропорту. Но все решает – и разрешает трагические коллизии – именно любовь, несущая свет и ставшая для героев наградой и воплощением подлинности жизни.

«Итальянский роман» собирались экранизировать, что неудивительно: динамичность, сюжетная насыщенность, яркие образы. Но пока не сложилось.

Эти романы – далеко не первый опыт автора, как можно догадаться. Его книги переводились на разные языки (чешский и итальянский отсутствуют в списке, что очень жаль). У Бориса Горзева помимо электронных публикаций, публикаций в «толстых литературных журналах», сценариев для телефильмов – 16 книг. Три из них вышли в издательстве «Геликон Плюс», чем по праву горжусь.

*Татьяна Алфёрова*

# Петер и Петра

*И станет мужчина мужем тебе, и ты отдашь ему свое девство, и этой кровью своею подпишешь, что будешь следовать за ним, и в старости и в болезни его ходить за ним и выносить срады его.*

## Часть первая

И каждый последующий день похож на предыдущий, и так длится время.

Можно подсчитать – так длится уже десятилетие. Это и есть время? Оно похоже на разбитое яйцо. А точнее, на содержимое яйца, размазанное по голой, без обоев, стене. Кто-то швырнул его о стену, обозлившись. Шершавая штукатурка, и на ней длинный сопливый комочек, тянущийся к полу. Смесь белка с желтком. Всё смешалось, не разобрать, кто, где, что.

Значит, последнее десятилетие. Ну, плюс-минус год-два. Поди упомни точно, если время – будто то самое размазанное по стене яйцо. В течение этого десятилетия (плюс-минус) я слышал голос Петры по два раза в год: под Рождество и в новогоднюю ночь. Два раза в год в течение десяти лет. Так мы перезванивались, чтобы поздравить друг друга. Или

напомнить, что мы живы? Или признаться, не признаваясь, что по-прежнему любим друг друга?

Нет, всё сразу: поздравить и тем признаться без слов, что мы живы. А если живы, то любим друг друга. Или наоборот: любим и потому еще живы. В конце двух последних фраз можно поставить знак вопроса. Или не ставить? Но если не ставить, то, значит, утверждать? Не знаю. Или знаю. Если время – то самое разбитое о стену яйцо, сопливая смесь белка с желтком, то «знаю» и «не знаю» почти равнозначны. Сие есть веское доказательство того, что бытие определяет сознание.

Начинал я. В ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря звонил в Теплице или в Прагу (это зависело от местонахождения Петры в каждый конкретный год) и поздравлял с Рождеством. Когда она жила в Теплице, обычно звонил около десяти вечера, а потом, когда она опять поселилась в Праге, звонил уже ближе к полуночи, потому что знал, что она непременно отстоит всю мессу в соборе Святого Вита и, значит, вернется домой из Пражского Града позже, чем это бывало в Теплице, где местный храм находился совсем рядом с ее домом.

Голос совсем не менялся за истекший год. Об этом я думал всю неделю, то есть до новогодней ночи, когда уже Петра звонила мне. Да, теперь она. Ответное поздравление. Но оба мы знали, что это не дань вежливости. Это больной повод услышать друг друга. Это как больной зуб, который навяз-

чиво тянет тронуть языком, хотя знаешь, что будет больно. Знаешь – надо наконец пойти к стоматологу и лечиться. Удалить нерв, депульпировать полость, поставить пломбу. Или еще проще – лишиться этого безнадежного зуба напрочь и уже назавтра о боли забыть.

Лишиться Петры я не мог. А она меня. И о боли забыть не получалось. И так всю жизнь.

## 1

В ту новогоднюю ночь я ждал ее звонка с понятной тревогой. Это была ночь с 68-го на 69-й. Слишком свежи события августа, да и в доме Петры не всё ладно, а точнее, неизвестно, что дальше. И по телефону всего не скажешь. И в письме не всё скажешь, даже если она решится написать. Нет, не решится – и не из-за перлюстраций, а просто потому, что с годами писать письма Петра стала натужно, будто царапала не по бумаге, а по сердцу. Пианистка, она воспринимала жизнь больше на слух. Теперь – особенно. Она слушала, а если что-то хотела выразить или просто сказать, то делала это с помощью рук, пальцев, порхая ими по клавиатуре рояля или по моей коже. Но по моей коже это было давно. И вообще с некоторых пор она замкнулась. Поэтому даже ее звонок раз в год, ночью 31-го декабря, теперь следовало воспринимать почти как подвиг. Или, не знаю, все-таки как желание услышать мой голос. Поздороваться, поздравить, а дальше – слу-

шать.

В ту новогоднюю ночь вышло иначе. Едва поздравив меня, она продолжила печально:

– Петер, он умирает.

Странно или нет, я понял, о ком речь, поэтому спросил дипломатично: «Там?» – а вот Петра ответила впрямую, не беспокоясь, что, если вдруг нас прослушивают, то могут догадаться.

– Там. В Риме.

– А! – вздохнул я. – И что – безысходно?

– Как? Ну да, э... как это по-русски?.. Безнадежно. Так?

– По-русски так. Если нет надежды.

– Надежда есть, потому что есть Бог.

Я не стал спорить по поводу этого алогизма: если действительно безнадежно, то при чем тут Бог? Какая тогда надежда? Спорить с упертой католичкой я зарекся сыздавна.

Мы молчали. А время (тогда я его еще ценил и помнил о нем) – время тикало, а с ним, как на счетчике у таксиста, тикали кроны Петры, женщины теперь не столь обеспеченной, чем прежде.

– Значит, это будет там? – наконец подал я голос и услышал ожидаемое:

– Там. Но то е как раз лучше, что там. Там медицина лучше. Может, еще полгода-год. Или Бог даст чудо и спасет. Надо верить.

– Конечно, – оставалось согласиться, и не только прили-

чия ради, а потому что Петре было тяжело, я знал.

Опять молчанье. Потом ее вздох, и следом:

– Ладно, Петер мой, ладно, что ж. Теперь я слушаю тебя.

А, ну вот – она слушает, и это означает, что мне надо говорить.

Но я не пустился в некий монолог, а спросил:

– Как твои пальцы?

Смешок. И далее:

– Хорошо.

– Ты играешь?

– Да-да, хорошо.

– А сила звука? Ты говорила, что плохо.

– Нэ-нэ, хорошо.

Понятно: врет, не хочет огорчать. Я разозлился

– Ну что ты заладила – хорошо, хорошо! Не води меня за нос, Петра!

– А, как? Води за нос – то е что?

– Фразеологизм. Значит, не хитри, не придуривайся, не ври.

– Хорошо, я не води тебя за нос. Я играю по легко, по немного... Тренинг, да. Дома.

– А в филармонии?

– Нэ. Туда не хожу. Ну пока. Я пока... э, официально больная, на справке от больницы. Имею право не работать. Филармония, оркестр – то е без меня.

– А зарплата?

– Нэ. Уже нет зарплаты. Но не страшно, отец пока... как раньше, всё хорошо.

Я понял. Этот наш эзопов язык мгновенно транслировался в нормальный. Привычная работа для мозга человека, живущего в условиях развитого социализма, тем более если общаешься с «нашим» иностранцем. Я понял: отец Петры пока на прежней работе, на прежнем месте. Значит, деньги в семье есть. А вот пальцы Петры, пальцы – как? Этого я не понял. Тренинг, она сказала. Значит, еще не всё в порядке. Выступления, конечно, отменены. С оркестром другой пианист. В октябре должна была быть поездка за границу. Ну была, конечно, но оркестр поехал без Петры. Это я знал. Тренинг. А настроение? Хуже некуда, похоже. И в Риме умирает ее кумир, ее идол, ее Бог. И что будет дальше с отцом, всей семьей – неизвестно. Милая картина!

Петра перебила стремительный поток этих мрачных мыслей:

– Петер мой, ты где? Ты меня хорошо слышишь? Скажи, что ты, скажи, я слушаю.

Я вспомнил:

– С Новым годом тебя! Дай Бог...

– А, и я тебе тоже. Бог, да, только Бог.

– И вот что, – вспомнил еще, – вот что... Я тут, понимаешь, рассказ написал, хочу тебе послать.

– О, хорошо, молодец! Ну скорей посылай мне, я буду ждать. Очень.

– Да, на днях пошлю.

– Хорошо, мой Петер, я рада. («Рада» с чешского можно понимать и как «люблю».) На схледанову, Петер! – слышится потом издалека. (А вот это означает «до свидания».) В ответ на что, как всегда при прощании, я говорю ей «спасибо».

– Декуйи, пани! – и добавляю: – Мам те рад.

Последнее означает «я тебя люблю». Вот такой я знаток чешского.

А Петра отвечает, причем совсем уже тихо, ибо между нами – расстояния, да еще поделенные границей:

– Милую тэ! – И еще раз: – Милую тэ!

Это тоже «Я люблю тебя», но в простонародном выражении, свойском.

Ну да, мы с ней давно свои.

## 2

Да, в те годы время имело значение и не напоминало, как теперь, разбитое о стену яйцо – вернее, его сопливое содержимое, смесь белка с желтком. Тогда время громко тикало, чаще всего радостно, звало за собой вперед. Так бывает, лишь когда взрослеешь, наполняешься соками и с радостным удивлением обнаруживаешь в себе что-то новое. Например, что пушок на верхней губе стал жестким и уже не рыжеватым, а почти черным. Ну и еще кое-что обнаруживаешь (но это вслух не обсуждается). И в девчонках-одноклассни-

цах тоже замечаешь некоторые перемены. Мы взрослеем, и это – наше время, оно за нас.

Когда время было за нас, я хорошо учился и хорошо играл в футбол, и однажды моя классная руководительница сказала, что сегодня после уроков мы с ней идем к директору. Я удивился и ответил безапелляционно: «После уроков я не могу, у меня тренировка». Ну да, это святое, а тут вдруг к директору. За какие такие грехи? Учительница меня осадил: «Леша! Симонов! Повторяю: сразу после уроков спускаешься ко мне в учительскую, и мы идем к директору. Это важно, это не просто так».

Первое, и не главное: Леша Симонов – это я. А почему потом Петра звала меня Петером, и только так? Об этом – ниже, потому что сейчас о втором и главном – о Петре, ну а с ней в том числе и о моем новом имени, которое она мне дала и именно так и называет меня всю жизнь. Чудны дела Твои, и верно...

Оказалось, моя учительница была права, сказав «это важно, это не просто так». Но откуда мне, восьмикласснику, было о том знать? Оказалось, мне вручили не письмо, а золотой ключик, или, если по-другому, пропуск на Злату улочку, которую много потом я увижу в Праге. Чудесная улочка, правда.

В общем, чистая политика. Укрепление советско-чехословацкой дружбы на культурном уровне. На этом уровне решили организовать переписку между школьниками старших

классов Москвы и Праги. Это политически понятно, а еще и удобно, поскольку в Праге почти во всех школах изучали русский язык (помимо чешского был обязательно русский и иногда еще английский или немецкий, но это последнее не в обычных школах, а в гимназиях, где обучались дети из престижных семей, то есть партийной элиты и всякой творческой интеллигенции; всё это, конечно, я узнал потом – от моего отца и самой Петры).

Итак, директриса мне всё объяснила. Пересказываю по памяти ее радостную речь.

Школьница из столицы Чехословакии города Праги, ученица 8-го класса такой-то гимназии, отличница, спортсменка, а еще и занимающаяся в музыкальной школе, решила переписываться с кем-то из братского Советского Союза и вот прислала письмо, которое по решению Гороно, передано нашей школе, а мы (я, директор, и твой, Алексей, классный руководитель) выбрали именно тебя, поскольку ты тоже отличник и вообще хороший, интеллигентный парень и тоже спортсмен, за сборную школы играешь по футболу и волейболу. Вот и переписывайся с этой девушкой. Поначалу ответь ей, напиши о себе, о нашей школе, ну и о Москве, конечно, о нашей стране... ну ты понимаешь. Согласен? Ну что ты плечами пожимаешь? Это ведь прекрасно – переписываться с хорошей школьницей из нашей заграницы! Бери письмо и будь умником, понятно, Симонов? Это хорошо, это важно, это честь для тебя, честь, что мы выбрали именно тебя. Бе-

ри, иди, дома прочитаешь.

Я взял в руки конверт. Странный конверт, непохожий на привычный, на наш. То есть не почти квадратный, а узкий, длинный, запечатанный с правого бока. На конверте был написан (на машинке!) адрес посольства Чехословакии в Москве, а сбоку, уже от руки, адрес Гороно. Выше значилась, судя по всему, обратный адрес на чешском языке (почему выше, а не ниже, внизу?), начинавшийся почему-то с имени и фамилии отправителя. «Петра Новакова», – прочел я. Это она и есть? – поднял глаза на директрису. «Она, она, та самая школьница... э, как ее, Петра, да. А что, хорошее имя, от нашего Петра, значит. Иди, Симонов, и не забудь скоро ответить, не тяни, а то неудобно получится, понимаешь? Да, и с отцом посоветуйся, он поможет, подскажет».

Я мало что понял. Скорее удивился. Почему я? И что писать ей, этой незнакомой девке с мужским именем, иностранке? Петра, да? В общем, чушь собачья...

Дома, после тренировки, на которую я, конечно, опоздал, аккуратно вскрыл конверт. Открытка с видами, как стало понятно, Праги и одна страничка, исписанная ровным, почти каллиграфическим, типично девичьим почерком. Буковка к буковке, ни одной помарки. Стал читать.

Это Петрино письмо, наше первое, я храню до сих пор. Ему больше тридцати лет. Странно, перечитывать его даже больно. Поэтому не перечитываю. Но содержание помню в общих чертах. Вот и перескажу вкратце.

«Дорогой московский друг!» – начиналось письмо. При первом же слове я вздрогнул: «Дорогой» – ни хрена себе! А дальше моя «дорогая» подруга из далекой заграничной Праги рассказывала о себе: в каком классе учится (как и я, в восьмом), в какой гимназии, чем занимается помимо школы (обучается на фортепиано, играет в теннис), как ей нравится русский язык, как она желает переписываться и «иметь дружбу с русским другом из СССР». Замечу, что написано было очень грамотно (несомненно, письмо просматривал, а то и редактировал ее, этой Петры, учитель по русскому), хотя некоторые выражения все-таки выдавали иностранку, особенно вопросы, но это звучало даже мило, вызывало улыбку (например, «какие у тебя интересы вокруг школы?», «штудируешь какую литературу?», «посещаешь ли кинематограф и что рад смотреть очень особенно?»).

Еще она просила написать ей о Москве, какая она большая и, все говорят, красивая, а сама посвятила пару строк своей чудесной «Злата Праге», с чем нельзя было не согласиться, глядя на открытку. Там красовались Карлов мост, собор Святого Вита, памятник Яну Гусу, вид на Влтаву и что-то еще. Маленькие цветные квадратики. Что на них изображено конкретно, я тогда не понял, ибо пояснительных подписей не было. Могло ли мне тогда прийти в голову, что вскоре всё это предстанет перед моими глазами наяву, а не во сне или в мечтах. («Вскоре» – это я иронизирую, потому что Прага предстала перед моими глазами почти через де-

сять лет, в 67-м.)

Я ж говорю: тогда время имело конкретное значение. Никаких метафор, только реалии! Слушай его тиканье и радуйся, ибо каждая секунда – это наша жизнь, вприпрыжку бегущая в бесконечность.

Тогда я бежал не один, а с Петрой. Ее ладонь с длиннющими сильными пальцами пианистки была зажата в моей руке, и я ощущал медовую влагу этой ее ладошки, вспотевшей от волнения.

Однако это потом, потом. А пока, то есть вечером того знакового для меня дня, пришел с работы отец, я ему обо всем поведал и дал прочесть письмо (мама уже успела ознакомиться и выслушать мой рассказ). Отец читал, улыбаясь, а закончив, сказал:

– Это хорошо, поздравляю, всё идет по плану.

– По какому плану? – не понял я.

– По плану расширения и углубления сотрудничества между странами соцлагеря, в культурной области тоже. – Но затем махнул рукой: – А, ладно, дело не только в этом. Переписываться с девушкой – это чудесно, чудесно! Обязательно ответь ей, прямо завтра. Попроси прислать фотографию. Кстати, потом и свою ей пошли. У тебя есть приличное фото? Лучше на фоне Москвы. Или на фоне моря – из прошлогодних, помнишь, когда мы были в Новом Афоне. Но только без меня, а там, где ты один. Понял? Хорошо. Вот и славно.

Тут надо сказать об отце. Тогда он был сотрудником МИ-

Да, и, как я знал, не из последних. По заграницам разъезжал (нетипичный случай в те годы), бывал в том числе и в Чехословакии, всегда хвалил Прагу. Вот и сейчас не без удовольствия разглядывал присланную с письмом открытку.

– А, смотри, Лёшка! Это – знаменитый Карлов мост. Красотища!.. А вот это – это их кафедральный собор, самый главный, имени какого-то святого, уже не помню какого. Готика! Здорово, да... А это, – ткнул он в следующий цветной квадратик, – это Гражский Град над Влтавой, там у нас переговоры были, да... Чудесный город Прага! Может, побываешь там, если повезет. А что, всё может быть, да? Жизнь – она длинная и, надеюсь, у тебя счастливая и удачная. Учись хорошо и, – тут он добро рассмеялся, – с девушкой завяжи переписку! Вдруг сложится, в Прагу попадешь, а?.. Кстати, как ее?.. – он опять взглянул на конверт: – Петра, Петра Новакова. Ясно! Ну, женских вариантов мужских имен там полно: Пётр – Петра, Павел – Павла, Франтишек – Франтишка, и так далее. Это у них нормально, не удивляйся. А вот фамилия... Новакова – это от фамилии Новак. То есть когда девушка выходит замуж за Новака, то она становится Новаковой. И дочь тоже Новакова. Понял? И кстати, это, самая распространенная там фамилия. Как наш Иванов. Точно. Я даже знал там одного Новака... ну в смысле встречался с таким. Густав Новак, да-да, именно Густав. Член ЦК их компартии. Участвовал в наших встречах там в последний раз. Нормальный мужик, довольно красивый, статный, мо-

его возраста. Может, он тот самый Новак? В смысле, отец твоей Петры?

– Пап, ну почему сразу моей? – чуть ли не обиделся я. (Это понятно, если юноше пятнадцать лет, правда?)

Отец хохотнул и потрепал меня по шевелюре:

– Ладно, извини, извини!..

Удивительно порой складывается мозаика наших жизней. Кто ее складывает – гений или художник-алкаш? Кто из них складывает кусочки, приставляет фрагмент к фрагменту? Вот и судите, гений или растяпа-алкаш складывал нашу мозаику, но тот самый Густав Новак, член ЦК, действительно оказался отцом моей (именно моей!) Петры Новаковой. Ей-богу, не вру! Но это выяснилось после, как вы понимаете. И когда это выяснилось, многое стало понятно. Почему моя Петра училась в престижной гимназии для избранных, и почему именно ей поручили начать переписку с «дорогим московским другом», и почему потом она с ходу поступила в знаменитую Пражскую консерваторию, а потом ее отправили на стажировку в Московскую консерваторию по классу самого Льва Оборина. Всё это выяснилось потом, потом, как и то, между прочим, что членство в ЦК аукнулось для Густава Новака и его семьи преинтереснейшим образом.

Однако я слишком увлекся, слишком забежал вперед, хотя и намеками. А тогда нам с Петрой было еще по пятнадцать лет, мы не знали друг друга лично, нас разделяло пространство с границей посередь, цвело солнечное настоящее,

а будущее позванивало серебряным бубенцом в голубейших небесах. Если время любить соединено с временем без нужды, без политики, без войны и прочей неизбывной мерзости, то об этом редчайшем времени потом нельзя рассказывать. Нельзя – вас сочтут ненаучным фантастом, а если вы вознамеритесь упорствовать, настаивать, что это, де, реалии, то вас отправят к психиатру и тот поставит диагноз, поставит!

### 3

Теперь мне кажется, что мы влюбились друг в друга еще по переписке, то есть до того, как произошла наша первая встреча. Да нет, конечно, я не прав, говоря «мне кажется»: я знаю, что так и было: еще по переписке, тем более что и Петра тоже так считает, сама потом сказала.

Значит, это первые полтора года, половина восьмого класса и девятый. Сначала мы переписывались со скоростью «раз в месяц»: я отвечал где-то через неделю после Петриного письма, потом неделю это письмо шло к заграничному адресату, потом Петра тоже выжидала с неделек, писала, отправляла, ну и еще неделек, пока конверт с ее посланием не скользнет в мой почтовый ящик.

Так было в первые полгода, а потом... Потом, после летних каникул, в течение которых мы не переписывались (а это три месяца!), вот после каникул что-то произошло. Мы стали писать друг другу без всяких выжидательных пауз: полу-

чил письмо, тут же пишешь ответ, отправляешь и через две недели (ах, эта чертова медлительная почта за границу!) получаешь продолговато-голубоватый конвертик. Так было со мной, и так же с Петрой. Мы переписывались неистово, жадно, в нетерпении ожидая ответа. Это сделалось навязчивой необходимостью. Лично я ничего подобного не ожидал, даже представить себе не мог, что такое возможно. Я что, рехнулся, сошел с ума? Что со мной произошло? Интересно, что и Петра тогда задавала себе те же вопросы, как потом выяснилось.

Это «почти сумасшествие» длилось в течение всего девятого класса. О чем мы писали друг другу? Да обо всем. Будто разговариваешь сам с собой. Рассказываешь, делишься. Что прочитал, где был, что видел, как отнесся к какому-то событию, почему поссорился с приятелем... но уже вскоре – почему столько странного на свете, что есть добро и зло, что любишь, а что презираешь, что можно простить, а что никогда. Ну и в том же духе. То есть мы обсуждали уже не только (а со временем не столько) событийное, сколько глубинное, проблемное, нравственное. Вот это-то нас и повязало, связало морским узлом. Вскоре мы признались друг другу, что еще никогда и ни с кем из окружающих, даже с родителями, не обсуждали таких тем; да что там не обсуждали – потребности не было!

Я нашел друга. Исповедальницу. Христианка Петра это определила так: святой отец за перегородкой-занавеской, ко-

торому исповедуешься, открываешь душу, своё тайное... Так я, шестнадцатилетний, стал для нее вроде святого отца. Ну, образ, конечно. Но точный, правильный образ. А она для меня? Тоже точно, правильно: моей душой. И это уже не образ.

Мы открывали душу, а поскольку между нами была перегородка-занавеска (а если без метафор – самая настоящая граница), то эта преграда тяготила и (чудеса психологии!) сильнее притягивала друг к другу. Хотелось жарко выдохнуть и чтобы это тепло души огладило кожу другого, согрело ее. «Я хочу дыханьем согреть твою кожу», написал я тогда Петре, на что она (о, как я боялся ее реакции на это вольнодумство!) среагировала так: «А я хочу сыграть перед тобой до-диез минор Бетховена. Это соната № 14. Лунный свет над озером, мой Петер».

Человек я музыкально неграмотный. В те годы – особенно. Пришлось поискать ответа в библиотеке, в «Биографиях великих композиторов». Выяснилось, что эта соната – знаменитая «Лунная». И еще выяснилось, что Бетховен посвятил ее совсем юной, шестнадцатилетней венгерской графине Джульетте Гвиччарди, которой давал уроки, в которую влюбился и страстно хотел жениться на ней, однако... А ведь если б ему не отказали, то и «Лунной» бы не появилось, не существовало. Нет правды на Земле!

Кстати, о забавном. Петра довольно хорошо писала порусски, со временем всё лучше, однако всего не могла выра-

зить, как хотела бы (особенно когда речь шла о духовном), поэтому выражалась кратко и намеками. Например: «Мой дорогой Петер, я думать тебе рада». Это означало, что она любит думать обо мне. Или такое: «Я желаю видеть как ты видишь мне». В переводе это прозвучало бы так: «Мне хочется знать, как ты воспринимаешь меня» или «какой я тебе кажусь». Ну и еще: ставить запятые Петра считала явно лишним. Забавно.

Однако самое забавное (но знаковое для нее) состояло в том, что она переделала мне имя. Я стал Петером. Имя «Алексей» или просто «Лёша» исчезли из ее письменного лексикона. Это случилось именно тогда, в девятом классе, когда, переписываясь, мы оба поняли, что уже любим друг друга (и не только поняли, но и открылись в этом, пусть иносказательно). Прямая и бесхитростная Петра всё объяснила. Но объяснила потом, не в письме, а когда мы наконец встретились в Москве. С ее слов, это получилось так.

Моя фамилия – Симонов, а Симонов значит сын Симона, а Симон – это и есть Пётр, а по-чешски – Петер. Дальше шли интересные подробности, почерпнутые Петрой от ее бабушки, истово верующей, естественно католички.

Сей Петр, ставший затем апостолом, родился в Иудее в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное его имя было Симон (это на арамейском, а на иврите – Шимон). А имя Пётр (Petrus по-гречески, то есть «камень») возникло от прозвища «Кифа» (что на арамейском тоже «камень»), и это

прозвище ему дал ему Иисус.

Во как! Для меня, атеиста, сына атеистов, прямо-таки ликбез!.. Ладно, дальше. Дальше, сообщала Петра, этот Симон-Шимон был женат и «работал рыбаком» (работал рыбаком – это прелестно!) вместе со своим братом Андреем. Встретив Петра и Андрея, написано у Матфея, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков».

Отлично! Эту последнюю фразочку я хорошо запомнил, и потом мы с Петрой долго спорили по поводу «ловцов человеков». Ну ладно, теперь не о том. Теперь о том, что я стал Петером. Ей так нравилось, а я не возражал. Да нет, мне это тоже нравилось. И до сих пор нравится – никто, кроме Петры, меня так не называл, и эта отдельность от остального и остальных мне приятна. Только она и я, Петра и Петер.

«Ты мой Петер, – читал я в очередном долгожданном письме, – ты есть камень ты будешь твердый да Петер? А я – Петра я уже твердая я люблю Бога и Деву Святую и еще одного мальчика из далека земля. Я тоже есть из далека земля но я твердая». (Запятые отсутствуют.)

Твердая девочка из «далека земля» жила в социалистической Чехословакии, и тогда вопрос: как же можно так запросто говорить о Боге, о Святой Деве? А престижная гимназия? А папа – член ЦК?

Потом, через годы, Петра только усмехнулась:

– Я всегда молчала о том, в гимназии, потом в консерватории. О том нени можнэ – нельзя. То, что мы верующие

всей семьей – и бабушка, и отец, и мама, – никто не знал, не знает. Ба́бичка Кветослава жила и живет у себя в Моравии, в Брно, и там вольно ходит в храм, никого не боится, а мы в Праге – как мышки. Ну, папа же член ЦК! Правильно я говорю: как мышки, да?

– Как же ты мне писала о Боге? Ведь наши письма, несомненно, прочитывали!

– Нет, мой Петер! Читали наши первые письма, а потом им надоедать, и больше не читали. Ну, мальчик и девочка, пишут детское! А и дьявол с ними! Это мне папа говорил: читать будут только первые два письма. А папа эту... эту химию знает, поверь...

Ах, хитрюга Петра! А я говорил, что она прямая, бесхитростная. Так-то так, но – женщина всёж! Если она полюбила, то что ей коммунисты? А и дьявол с ними!..

И еще, если о том, первом нашем периоде. Я говорил, что Петра хорошо писала по-русски. Но она не только писала, но иногда и делала для меня, русского, открытия. Например, спрашивала, знаю ли я, что означает слово «улица»? Оказывается, от понятия «у лица». Дескать, то, что прямо перед тобой, рядом. «А переулочек?» – не без иронии спрашивал я в ответном письме. «Первелок, – узнавал через две недели, – то е первая, совсем маленькая улочка. А хотя нэвим – не знаю хорошо».

Зато она знала хорошо, почему город, где живет ее любимая моравская бабушка («ба́бичка») Кветослава, безбо-

язненная католичка, почему Брно так называется. Оказывается, Брно – от слова «броня». Оказывается, там крепость, знаменитая тем, что ее так и не смогли взять ни шведы в XVII веке, ни пруссаки в XVIII. Вот такая броня. Отсюда и название города. (Хотя в XX веке это не спасло Брно от немцев, а затем большевиков. Но об этом, понятно, я не написал Петре, только так подумал.)

И в заключение, если о том периоде опять же. Наверное, надо было начать именно с этого – с фотографии.

Я внял совету отца и сразу предложил моей заграничной знакомой обменяться нашими фото. «Ты – первая, – пошутил я, – поскольку первая написала». – «Нэ я девица а ты пан. Это первый должен ты, – справедливо парировала девица, но дальше добавляла: – И ладно я твердая смелая, поэтому с вэлким помешением. Это по-нашему с большим удовольствием мой Петер».

С вэлким помешением я разглядывал фотографию, явно обрезанную под формат узкого конверта. Это фото до сих со мной, а тогда оно тайно хранилось в ящике письменного стола, куда, я знал, родители не заглядывают. Хорошее фото! Да нет, фото стандартное для той эпохи, черно-белое, любительское. Девушка с лицом в три четверти, сама до середины груди (то есть предполагаемый размер последней не определишь даже приблизительно), в строгом, закрытом под самое горло платье. И взгляд тебе в самые глаза. Дескать, ты кто, пан? На фото глаза очень темные и волосы очень темные, но

прелесть в том, что волосы длинные, свободные, низко падающие на плечи, прикрывающие лоб, щеки, но расходящиеся в стороны, освобождая середину узкого лица. Да, узкая Петра. Темная Петра. Твердая Петра. Ты кто, пан? А пан привык, что девчонки в классе по-советски еще носят косы или, в крайних случаях, коротко стригутся, «под мальчика». А тут – такие свободные, вольные волосы! Не девчонка – женщина, молодая женщина, почти красивая.

Это я верно сказал – «почти». Пятнадцать лет. Уже не почти, а просто красивой она стала к двадцати годам, когда приехала в Москву заканчивать консерваторию, и вскоре мы стали близки (тогда размер ее груди я разглядел уже хорошо, а вот волосы остались теми же – длинной рекой, делящейся на два рукава спереди). А абсолютно, законченно красивой она сделалась к двадцати пяти годам. Да, тогда она достигла пика своего совершенства и остается такой до сих пор. Достижение пика почти совпало для Петры с «Пражской весной», это я говорю ответственно, потому что видел ее, мою Петру, незадолго до тех событий, летом 67-го в Праге. Ей-богу, красивая женщина. Довольно высокая, стройная, с гордой осанкой. Петра, короче. Чтобы вам представить ее типаж, вспомните Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина». Строгое длинное платье, долгие волосы, молчаливые, сочащиеся скрытой страстью темные глаза. Умные глаза. А еще тонкие губы. А еще ничего лишнего – лишних слов, жестов. А еще руки, пальцы пианистки, которые вместо слов

творяют музыку касаний.

Уже не черно-белое, а цветное, но все-таки графичное, тонированное, без буйства красок. Но это потом, потом. А тогда мне было первое фото этой девушки-женщины, которое я выуживал украдкой из ящика письменного стола. И делал это ежедневно, весь девятый класс.

## 4

Почти трагедия чуть не случилась летом. Петра написала мне, что в эти последние школьные каникулы, между девятым и десятым, и конкретно в чэрвэнэце, (то есть в июле, как было переведено), она с родителями едет к Черному морю, в Сочи, в какой-то дом отдыха ЦК для иностранных товарищей. «Какое счастье мой Петер я никогда не видела моря! – писала она дальше, и следом будто мольба: – Очень прошу если не едешь в Сочи с родителями жди меня в твоей Москве потому что на пути домой в Прагу папа сказал мы два дня остановиться в Москве чтобы я смотрела твой город очень красивый. Очень прошу мой Петер!» (Отсутствие запятых опять сохраняю по оригиналу.)

У моих родителей были другие планы. Отец уезжал в долгую командировку, в Африку на два-три месяца (там всюду шел процесс освобождения от ненавистного колониализма, и следовало вовремя подсуетиться, чтобы приобрести новых друзей социализма), мама уже договорилась о путевке в са-

наторий в Друскининкай, что в Литве, а я, по их прикидке, в июле-августе, должен был отдыхать под Москвой на даче у тетки, которая там жила с сыном, мой ровесником.

Вот и я говорю про почти трагедию: как же нам увидеться? Наивный парень, мне бы смолчать и в означенные Петрой дни спокойно смотаться из подмосковной Загорянки домой. Но, во-первых, я не хотел врать (это у нас в семье было не принято), а во-вторых, мне нужны были ключи от дома. Мама, как я понял, не собиралась оставлять их мне или кому-то еще, уезжая в свой литовский санаторий. Значит, надлежало сказать правду.

Я сказал. Папа с мамой переглянулись.

– Это невозможно, – повела головой мама. – Ты, один, тут? Это как? А тетя Люба? Она тебя ждет!

– погоди, – мягко перебил отец, и уже мне: – Алексей, как ты видишь эту ситуацию?

От этого чуть полегчало:

– Очень просто. Встречу их на вокзале, узнаю, где они в Москве будут эти два дня... Ну а потом погуляем с Петрой по городу, она так хочет посмотреть Москву! Вот и всё. Потом я провожу их, то есть на вокзале опять же.

Отец понял меня, но и маму

– Если ты не намерен приглашать Петру сюда, к нам домой... а этого делать не надо, Лёша, то действительно, почему бы тебе не показать ей Москву? Вполне-вполне. Потом проводишь ее в гостиницу. Я думаю, они остановятся в го-

стинице «Москва», так положено для таких товарищей, как Густав Новак. Кстати, – и смешок, – тебе надо еще получить соизволение товарища Густава на то, чтобы гулять вдвоем с его дочерью в чужом для нее городе. Получишь? Во-во, тоже задачка, это не то что тебе маму уговорить!.. Да, Наденька (это уже маме, ничего страшного, даже напротив, это очень хорошо, что ты разволновалась? Два дня, и всё. Погуляют, и всё, никакого визита сюда. Прекрасно! Надо оставить Лешке ключи от дома, деньги на еду и ухаживание за дамой, но через два дня, Алексей, чтоб как штык был на даче у Любы! Договорились, даешь честное пионерское? Наденька, видишь, какой послушный у тебя сын? Молодец, сын! Теперь давай обсудим, как ты будешь держать себя с иностранцами, куда поведешь девушку, где будешь ее кормить, потому что в ресторан тебя с ней могут не пустить. И не надо в ресторан, понял? Значит, в какое-нибудь кафе. Давай прикинем, что, как, где...

Короче говоря, трагедии тогда не случилось. Тогда нам с Петрой что-то позванивало серебряным бубенцом в голубейших небесах. Что? Будущее.

Мы всё согласовали в письмах. Я узнал дату прибытия в Москву их поезда из Сочи, номер поезда, номер вагона. Узнал, что они остановятся в гостинице «Москва», будут здесь два дня и что ее отец в принципе не возражает, чтобы дочь погуляла по городу с молодым человеком, но часа два-

три, этого достаточно. То есть вообще-то на прогулку они отправятся всей семьей, а потом дочка с московским другом отделятся, погуляют сами, вдвоем, после чего он доставит ее в гостиницу.

Отлично. Два-три часа тогда показались почти вечностью. Впервые вдвоем. И то, что строгий папа, член ЦК, «в принципе не возражает», очень удачно. Остается не опростоволоситься. Понравиться. Купить два букета, как посоветовал отец, и вручить при знакомстве у поезда матери Петры и самой девушке. Женщины это ценят, улыбнулся отец, и пан Густав тоже оценит.

Я так и сделал. Я понравился.

Да дело не в этом. Я впервые увидел мою Петру. Живьем. Всю, от волос (длинной рекой, аж до середины спины) и до пят. Она жутко загорела там, в Сочи. На этом черном фоне ее зубы, когда она улыбалась, блестели, как у негритянки в кино (живых негритянок я не видел). Она улыбалась мне. Она мне рада. Она меня любит, я это знал, чувствовал. Она даже не может этого скрыть от внимательных родителей. И ладно. Уже ничего не поделаешь. Серебряный бубенец в голубейших небесах звякнул вполне отчетливо. Мы любим. Это ясно. Уже ничего не поделаешь. Судьба.

Два слова о родителях. Мать Петры, пани Власта, довольно милостивая, среднего роста, улыбчивая, тоже с длинными волосами, чуть полноватая, какая-то вся к себе сразу располагающая, хотя по-русски она почти не говорила. А

вот пан Густав, напротив, высокий, худоватый, статный (тип нестареющего гусара), строгий на вид (ясно, что Петра больше пошла в него, внешностью во всяком случае), он поглядывал на меня внимательно, но ненавязчиво, будто опытный разведчик. Нет, это я больше в шутку – вообще-то он произвел на меня хорошее впечатление, тем более что его почти совершенный русский время от времени окрашивался юморными словечками.

Пока мы шли к такси на Курской площади и после стояли там в короткой, слава богу, очереди, загоревшая Петра, поблескивая зубками, рассказывала мне о прекрасном Черном море («О море, Петер, море впервые, то е чудо!»), о Сочи (чудо опять же) и других впечатлениях (горное озеро Рица, что-то еще). Потом семейство уселось в такси, но перед тем мне было предложено завтра ровно в полдень быть в холле их гостиницы, они спустятся из номера, и мы пойдем гулять.

Я вернулся домой счастливый. Дом был пуст, никого, и это хорошо, потому что я не находил себе места, улыбался, разговаривал сам с собой. Наверно, влюбленный юноша производит дурацкое впечатление, если глянуть со стороны. И хорошо, что на меня тогда никто не глядел. В моих глазах стояла впервые увиденная мной Петра – моя любовь, моя чужеземная женщина, мое будущее, которое, я верил, вскоре станет настоящим – моим всегда.

Ах, мечты!

Мечты как-то потускнели уже назавтра.

Ровно в полдень я примчался к гостинице «Москва» и впервые вошел туда, в огромный холл. Странно, никто меня не остановил, не поинтересовался, кто я, зачем, куда и к кому. Пальмы в кадках, кресла, диванчики, даже небольшое отделение связи слева при входе, справочное бюро, дверь в парикмахерскую, железнодорожная и авиакассы.

Минут через пять возникло святое семейство. Женщины приветливо улыбнулись, пан Густав удовлетворенно кивнул, протянул руку. Мы вышли из гостиницы к Манежу и двинулись – куда? – естественно, на Красную площадь. Всё сияло в полуденном солнце, по брусчатке шуршали шаги прогуливающих москвичей и приезжих.

Посещение Мавзолея, спасибо, в планы не входило, поэтому, обзрев положенное, прошли в Александровский сад и через Боровицкие ворота – на территорию Кремля. Там ходили-бродили, даже послушали экскурсовода, вклинившись в группу туристов, пан Густав время от времени принимался фотографировать, в том числе (отдельно!) меня с Петрой, в ответ на что я попросил у него фотоаппарат и снял всю семью на фоне Царь-колокола. В ходе этого променада пан Густав ненавязчиво выспрашивал меня, как я учусь, чем интересуюсь, определился ли, куда буду поступать после школы (удивился, что определенных планов у меня пока нет), кто мои родители, где работают (хотя то, что мой отец – сотрудник МИДа, он, несомненно, должен был знать от Петры, я ей писал об этом, когда мы обменивались вопросами на

данную тему). Кажется, он остался удовлетворен моим рассказом: русский друг его дочери – из интеллигентной семьи, отец, как ни крути, из элиты, мать – врач, а сам сынок вполне симпатичный парень, вроде не глупый, хорошо учится, воспитанный, вот, даже цветы преподнес при встрече на вокзале.

Потом мы зашли в Успенский собор, Петра с матерью, подпольные католички, разглядывали всё с интересом, знакомясь с православием в чудом сохранившемся виде. Где-то через час, наверное, опять оказались в Александровском саду, и тут Петра наконец сказала, что теперь она хочет, чтобы я показал ей, как обещал, свои любимые места в Москве. Отец глянул на часы: «Хорошо-хорошо, но не позже четырех возвращайтесь в гостиницу, будем обедать, а потом у нас театр вечером. Да, Петра? Никак не опаздывай!»

Петра твердо пообещала, кивнула, и мы пошли. Вдвоем. Отдалившись от родителей, взялись за руки, как дети. Шли молча, удивленно наслаждаясь этим «вдвоем». Петра улыбалась и изредка косилась на меня. Опять через Красную площадь я вывел ее к Большому Каменному мосту, и, перейдя на противоположный берег реки, мы сели на речной трамвайчик в сторону Парка культуры.

Народу на палубе оказалось много, все лавочки заняты, и нам ничего не оставалось, как стать у борта, облокотившись о поручень. И хорошо. Я просунул руку под руку Петры, и она тут же прижалась ко мне всем боком. Молча опять же.

Глазела на открывавшиеся виды, на воду в реке, улыбалась. Наконец я спросил:

– Ты как?

– О, хорошо! Как красиво!

– Нет, я о другом: ты – как?

Она поняла:

– О, русский язык! Разумею, да. Я тебя... я тэ милую. Разумеешь?

– Понимаю. Я тоже тебя люблю. Нет, не так: я очень тебя люблю, очень! Разумеешь?

– А, да. Вэми, вэми! Значит «очень», да. Вэми милую тебя, мой Петер! Ты... очень красен. Вэми красивый, значит. Разумеешь? Я думала в Праге, думала – как ты... э, какой ты? Ты – очень, очень. Твои письма, и ты здесь, сегодня. Ты – мой Петер. Я тебя люблю.

У меня поплыла голова. Что теперь?

– Я хочу... хочу целовать тебя, понимаешь?

Петра спокойно кивнула:

– Хорошо. Можно. Ливат – целуй.

– Тут неудобно, полно людей.

– А, да. Нени можнэ. Нельзя, разумею. Значит, давай... э, ховаться, да? Давай ховаться от людей, этот корабль. Да?

Конечно, тут же понял я, Петра права: надо сейчас же спрятаться, сховаться, как она выразилась, уйти отсюда, с этого кораблика. А куда? Ну ясно куда: домой, ко мне. И нарушить данное родителям обещание? Ну и пусть! Я и Петра

– это сейчас важнее, сейчас и всегда.

– Пойдем, – позвал я ее, – пойдем, скоро будет остановка, пристань, сойдем на берег.

– Хорошо, пойдем. А куда, мой Петер?

– Ко мне домой, это не так далеко.

– А твои мама и папа?

– Их нет в Москве, я там один. Идем?

Петра вдруг опустила голову. Волосы сразу скрыли ее глаза, всё лицо. Но вот она развернулась ко мне, откинула в сторону пряди и глянула горько, почти испуганно:

– Петер... Это нени можнэ. Нельзя.

Я удивился:

– Ты меня боишься?

– Нэ, нэ, Петер! – и указала себе в грудь, там, где сердце: – Я боюсь не тебя. Я боюсь себя. Разумеешь? – и повторила долгим шепотом: – Петра боится себя.

Я понял. О боже! Значит, нет.

– Значит, нет? – произнес вслух.

– Да, Петер мой, нет. Это сейчас много. А потом... потом назад в отель, мама, отец, они хорошо увидят, если...

Да, конечно. Она права опять же... Я сглотнул и попытался улыбнуться, потому что глядеть на выражении Петриного лица стало горько. Бедная девочка. Бедный я.

– Хорошо, Петра, ладно, ты права, не пойдем ко мне домой. Но... я должен тебя целовать! Пошли, я знаю где!

Мы сошли на ближайшем причале, у Крымского моста.

Там вдоль набережной был большой сквер, но целовать Петру в здешних кустах или за деревьями мне показалось неуместным, и я повлек ее через арку во двор большого дома позднесталинского периода, а там толкнул дверь в ближайший подъезд.

В подъезде было тихо, почти сумеречно после яркого света улицы и совсем не пахло кошками. Мы поднялись на полэтажа к окну с глубоким подоконником. Петра уложила на него сумочку, до того висевшую у нее на плече, и развернулась ко мне.

– О'кей, – произнесла почему-то по-английски, – здесь хорошо, целуй меня...

Сколько истекло времени, пока мы страстно целовались, я не помню. Зато помню ее тело, вжавшееся в меня, ее мягкую грудь, спину и всё нижерасполагавшееся, куда доставали мои руки. Когда такое у вас впервые, то можно сойти с ума. Тем более если вам только шестнадцать. И даже не столь важно, что есть одежда, сквозь которую не чувствуешь, не слышишь кожу, голую чистую кожу, – но ты чувствуешь и слышишь сердце, всю любовь, ты несешься по темному тоннелю бессмертия, в конце которого – свет, твоя вечность.

– Я чувствую тебя, – вдруг прошептала Петра, – тебя... ты там большой и сильный такой! О, Дева Святая, помогай мне!.. Оставь меня, Петер, я больше не могу, это так... мучит, э, мучить себе... Нам пора в отель... Последний раз, целуй последний раз!..

Мы выбрались из подъезда, сели на ближайшую лавочку.

Петра сказала серьезно:

– У меня ноги еще... как это?.. Дрожат, да?

– Да, дрожат. У меня тоже.

– Хорошо, что мы не сделали это... Мы это сделаем потом.

– Когда?

– Еще год, я окончу гимназию, стану совсем большая, ты сделаешь мне визит в Прагу. Еще год, да. Бог даст. Бог – это ждать, это верить.

– И терпеть, – добавил я с иронией.

– А, Петер, никак по иначе. Всё хорошо. Ты есть, я есть.

Есть любовь.

– Послушай, Петра, а во сколько лет у вас можно жениться, идти в загс?

– Загс? Не понимаю, расскажи, что то е, это как?

Я объяснил. Она засмеялась:

– А венчаться! В восемнадцать. А если родители панны согласны, то и раньше, но если пан постарше. Но только в соборе, и настоятель благословит.

Я представил себе эту ситуацию: собор, горят свечи, звучит орган, ихний батюшка, то есть католический священник – и я, советский атеист, а рядом Петрин отец, член ЦК. Рехнуться можно! Бред эпохи социализма!

И рассмеялся. Петра расширила глаза и вдруг рассмеялась тоже:

– Я понимаю, понимаю, о чем ты, почему! Ой, чудо, чудо,

прямо горжи!

– Что такое «горжи»?

– А!.. Ну то е... когда горит. Когда дом горит. Ну, горит!

– Пожар?

– Да-да, пожар, правильно! Но тут это юмор. Горжи – а все смеются. То е очень смешно.

– Да, очень смешно у нас с тобой, это точно!

Она взяла мои ладони в свои:

– Петер! Нам нени можнэ тескнит!

– Что такое «тескнит»?

– Э... ну еще у нас говорят – трухлит.

– Трусить, что ль?

– Да, бояться... А, вспомнила: грустить! Нам нельзя грустить, мой Петер! Я тебя люблю, и есть Бог, он со мной, и всё мне даст, мне и со мной тебе. Разумеешь?..

Да, я разумел. То есть всё понимал. Кроме одного: вот завтра Петра уедет, а я останусь и не увижу ее еще год, а если по правде, два, а то и три. Это как? Как жить? Как же можно не трухлит, не тескнит, или, проще говоря, не грустить? Да тут не грустить, тут выть надо!..

Печальные, мы поехали в гостиницу. Сначала дошли до метро «Парк культуры», а еще через пятнадцать минут были на месте. В холле Петра повела меня к лифтам, показала пропуск-карту швейцару, мы поднялись на какой-то этаж, долго шли по длиннющему ковру и наконец остановились перед дубовой дверью в номер. Открыл пан Густав, улыбнул-

ся, оглядел дочь, обнял ее и пригласил вовнутрь. Я только увидел сквозь дверь, как там шикарно, в первой комнате, гостиной, но заходить не стал.

– Простите, мне пора.

– Нет-нет, а обед? – явно удивился пан Густав. – Мы все вместе, и с тобой, Алексей, сейчас идем на обед в ресторан, на 7-й этаж.

Тут же показалась пани Власта и что-то горячо заговорила по-своему, адресуясь к мужу.

– Вот и моя пани не понимает, как же мы без тебя? – продолжил он и глянул на дочь: – Петра, пригласи Алексея! Как же так? Петра!

Но я опередил ее:

– Простите и спасибо. Мне действительно надо сейчас за город на дачу, я обещал тетке, что буду к вечеру, а ехать долго. И я не голоден, мы с Петрой зашли в кафе, перекусили. (Всё это я соврал, конечно: и на дачу не собирался сегодня, и ехать туда было не долго, и ни в какое кафе мы с Петрой не заходили.) Еще раз спасибо и извините. Я пойду. А завтра буду на Киевском вокзале, провожу вас, если не возражаете. Номер поезда и вагона я помню.

Пан и пани развели руками, а Петра (демонстративно, что ли?) вложила свою ладошку в мою и кивнула родителям:

– Я провожу Алексея до лифта.

Там мы и расстались. Быстро коснулись друг друга губами, перед тем убедившись, что нас никто не видит.

Я поехал домой. Чувствовал себя странно – то радостно, то отвратительно. Первое было сопряжено с памятью о живой Петре, поцелуями и ее телом, которое я впервые обнимал еще пару часов назад, а второе – с тем, что теперь я ее долго не увижу, очень долго, нестерпимо долго. Ну это если не считать завтрашнего прощанья на Киевском вокзале, у поезда «Москва – Прага». Хотя разве это стоит считать? Десять минут, и всё. Потому что я намеренно приехал именно за десять минут до отправления. Чтобы не мучить Петру и себя.

## 5

Теперь я не представляю, как прожил те годы. Просто не знаю, как прожил. Годы без Петры. И ведь не два года и не три, как полагал тогда, а целых четыре. Плохо прожил, очень плохо.

Нет, вообще-то нормально прожил. Окончил школу с серебряной медалью (чёртова физика – всегда с ней были нелады!), поступил на журфак МГУ (хотя отец советовал идти в МИМО и даже хотел поспособствовать, а мама тянула по своим стопам в медицинский), хорошо учился, нормально общался с друзьями, много читал и даже стал пописывать (но в стол, в стол!). Что еще? Держал в голове, как бы мне занять свою квартирку, где (о, мечты!) мы будем с Петрой, но откуда ж студенту взять такие деньги, пусть и с родитель-

ской помощью? Нет, я жил с ними, мы хорошо ладили, однако никогда не обсуждали ситуацию «я плюс Петра», потому что, я чувствовал, тема связи сына с иностранкой, даже «нашей», издавна не вызывала восторга в доме, хотя ничего негативного в этом отношении я не слышал. Но понимал, дело не Петре как таковой, дело в самой ситуации, нетипичной и, кто знает, может быть, рискованной в условиях конкретной страны и того времени.

В условиях конкретной страны и того времени нам с Петрой оставалось переписываться. Что мы и делали неостановимо, регулярно и со всем душевным тщанием. Этих ее писем за те годы у меня набрался целый том (ну сотня, это точно), и на их основе можно было бы написать неплохой роман в письмах, романтический, нежный и страстный. А что – может быть, и напишу когда-то.

Ну а что Петра? Я имею в виду уже событийно. Гимназию она окончила, конечно, с отличием, равно как и музыкальное училище, и потом поступила в Пражскую консерваторию по классу фортепиано. Много занималась и, как я понимал, вполне успешно, уже участвовала в каких-то концертах и конкурсах, но пока в пределах Праги, а затем Чехословакии. Я не знаток музыки, тем более никогда в те годы не слышал исполнений Петры, но, судя по ее письмам и присылаемым ксерокопиям из тамошних газет и журналов, ее отмечали как несомненный талант и прочили большое будущее. Ах, будущее!

И еще о Петре. Об удивительном и родном. Нет, именно о родном, поэтому почти не удивительном. Она, моя Петра, за эти годы пристрастилась к чтению русской литературы. Классики. Особенно ей нравился Толстой (прочла все его главные романы), а вот Достоевский – не очень, а если точнее, она не приняла его душой. «Это сильное но больное, – писала она мне, – а больное и сильное это по не моей душе понимаешь мой Петер?» (Запятые в ее письмах по-прежнему отсутствовали, хотя изъяснялась по-русски она почти уже совершенно, и чтение русской классики тут, несомненно, сделало свое дело.) Так вот, я и говорю о родном. О Толстом и Достоевском. Об этой разнице. Ведь и у меня было точно так же. Толстого я обожал, а к Достоевскому относился уважительно, но и с опаской, и многое у него вызывало отторжение. «Сильное, но больное» – Петра выразила главное, и главное даже не в этом писателе, а в нас: мы оба чувствуем одинаково, мы действительно родственники душами... Да, сильное, но больное. Это не наше, не по нам...

Значит, пианистке и почитательнице Толстого Петре Новаковой прочили большое будущее, а я учился на журфаке, за тысячи километров от нее, и между нами была граница. Граница имела место быть, но нас, разлученных, мы верили, ждало общее будущее.

Ах, будущее! И как звякнет в голубейших небесах наш серебряный бубенец? Вот и послушаем как. Не всё так просто и прекрасно, оказывается. Нам уже не по шестнадцать, а по

двадцать скоро.

На что это я намекаю? Да на письма Петры опять же. Нет-нет, не на какие-то изменения в отношениях, не дай бог, не на трещинку в нашей прекрасной заочной любви, не на ее, моей Петры, охлаждение ко мне. Нет. Дело в том, что от ее писем как-то исподволь, пока намеками, пахнуло политикой. Да, запашок. Едва уловимый, но несомненно мерзкий.

Вот такая штука.

## 6

Значит, четыре года. Четыре! Как они прошли для нас – см. выше, в предыдущей главе. Если совсем уж коротко и о главном – мучительно.

Теперь – новая глава.

Мы отучились три года – я на своем журфаке МГУ, Петра – в своей Пражской консерватории. У меня, если по сути, ничего не менялось, а вот у Петры... Поэтому о ней.

Ее знаменитая Пражская консерватория имела одну особенность: формально она давала не высшее музыкальное образование, а среднее. Поэтому если кто-то из студентов желал получить высшее специальное образование (а это было очень важно для последующей карьеры – участия в международных конкурсах, концертирования, преподавательской деятельности), то надлежало продолжить обучение по спе-

циальности – либо там же, в консерватории, либо в другом высокостатусном заведении в Чехословакии или за границей, например в Московской консерватории. Последнее было возможным для очень талантливых выпускников, показавших себя по всем (в том числе морально-нравственным) параметрам. Понятно, что под этим подразумевалось в социалистической стране.

В той социалистической стране у Петры было всё: талант, отличная успеваемость, успешное участие во внутренних конкурсах, но главное – кристальная биография, которую олицетворял папа, Густав Новак, член ЦК Компартии. Отсюда не странно, что уже после трех лет в Пражской консерватории Петре Новаковой предложили продолжить обучение в Москве, так чтобы еще через два года не только иметь высшее образование, но и, при удаче, показать себя мировым корифеям, а при суперудаче – заявиться на престижные конкурсы и проявить себя в них. В общем, знаменитая Московская консерватория – это пропуск в высокое профессиональное будущее. А поскольку, как пообещали Петре, ее направят учиться по классу фортепиано к самому Льву Оборину, то это, говоря нашим языком, как ухватить за хвост жар-птицу. Ну при условии, если уже в Москве Петра понравится Оборину на прослушивании.

Петра понравилась и ухватила. Золотое перо оказалось в ее сильных руках.

Обо всем этом, кроме последнего (прослушивании у Обо-

рина и «ухватила»), я знал из ее последних перед приходом в Москву писем. И летом 64-го Петра приехала. К Оборину? Да, к нему, но и ко мне.

Да, формально она приехала для продолжения учебы по классу профессора Оборина в Московскую консерваторию и на два года поселилась в Собиновском переулке (о последнем – ниже), однако, если уже не формально, а фактически, то приехала она ко мне, чтобы быть моей, а я – ее. Мы встретились, мы уже вместе. Наконец.

Несомненно, эти два года стали самыми счастливыми в наших жизнях. Мы вместе, мы еще ослепительно молоды, сильны телами и душами, есть крыша над головой, и нет никакой нужды, над нами не грохочут самолеты, несущие бомбы, не грохочут по мостовым гусеницы танков, никого не ловят, не сажают, и как это прекрасно, это единственно правильно и справедливо – любить дарованного тебе самим Богом человека! (Про Бога – это по высказыванию Петры на наш счет.)

Два года счастья. А что – немало, даже если потом... Ну, про потом – потом.

Я встретил Петру на Киевском вокзале. Боже, какая красивая! Девушка-женщина, которая на подходе к пику красоты (к почти двойнику Анук Эме, если помните).

У красавицы оказалось много вещей («Ну да, я же надолго, а у вас, говорят, зимы холодные, вот и шубку привезла!»),

мы погрузились в такси и покатали в Собиновский переулок. По пути я узнал то, о чем вкратце Петра мне уже писала. Например, вот что.

В Собиновском переулке есть особняк, в котором Московская консерватория арендует несколько квартир для своих иностранных студентов и иногородних преподавателей. От самой консерватории, которая на улице Герцена, до этого переулка совсем близко, минут пять-семь пешком. Чудесно!

И верно, оказалось чудесно. Большой особняк. Бывший доходный дом (под номером 7) по бывшему Малому Кировскому. Как я потом узнал, его построили еще в 1890 м году и когда-то в нем жили известные музыканты. С некоторых пор тут арендует квартиры консерватория, которая на бывшей Большой Никитской. До нее пешком действительно пять минут. Удобно. Тихо. Очень по-московски. Красиво.

На третьем этаже – квартира, где должна жить Петра. Номер 13. Отличное число! Старая, но очень ухоженная, уютная двухкомнатная квартира. Буковый паркет широкой ёлочкой, глубокие подоконники, высоченные потолки. Газовая колонка в ванной и на кухне. Старинные плафоны. Телефон, телевизор. После мы выяснили, что в этой квартире (правда, без телефона и телевизора) некоторое время проживал композитор Танеев, а то ли здесь же, то ли рядом когда-то жил знаменитый художник Исаак Левитан. Ничего себе тени прошлого!

Нынешней тенью, то есть соседкой Петры по квартире,

оказалась консерваторская представительница коммунистического Китая. Я не оговорился – действительно тенью. Ибо эта студентка-китаянка по имени-фамилии Лю-Тао-Ци была мала ростом, совершенно плоска, с серо-желтым лицом и худыми кривоватыми ножками, едва приметными под платьем ниже колен.

Вскоре Петра окрестила ее на славянский манер Люшкой, на что Лю никак не обижалась. И вообще она оказалась хорошей, очень нам удобной: домой заявлялась ближе к ночи, потому что работала (то есть училась) упорно, сугубо по-китайски, говорила мало и по-русски плохо (но понимала нормально, всегда кивая в ответ), мало ела за ужином, вскоре укладывалась спать в своей комнате, а утром, когда Петра просыпалась (или мы с Петрой), Люшки дома уже не было.

Очень удобная соседка, хорошая. Если вечерами она пораньше возвращалась из консерватории (пораньше – такое случалось редко), Петра всегда звала ее на кухню к столу, и по прошествии нескольких месяцев Лю совсем перестала нас стесняться, даже улыбалась, даже что-то мурлыкала, произнося русские слова с кошачьими модуляциями, и вообще мы стали почти друзьями, опекали ее, иногда зазывали ее с собой в кино или в театр, но Люшка упорно отказывалась, блюдя невинность духа и чистоту коммунистического сознания. Личной жизни у нее не могло быть по определению. Как же ей было одиноко, понял я потом!

Училась же она, повторяю, упорно и, по рассказам Петры,

которая не раз слушала ее в консерватории, играла на скрипке превосходно. Ах, если бы не последовавшая вскоре в Поднебесной «культурная революция», быть бы нашей Люшке гордостью Китая, а то и мировой знаменитостью, кто знает!..

Итак, Петра приехала, было начало осени, сентябрь («зари», как она называла по-своему), чуть пасмурно, но безветренно, спокойно.

Через некоторое время, когда она пообвыкла в квартире, а в консерватории перезнакомилась с профессорами и студентами по классу, я предупредил родителей, что сегодня, может быть, не приду ночевать. Они поняли, поскольку знали о моих последних делах, я им рассказывал. Но дело было не в молчаливом понимании папы и мамы, а в Петре. Она-то как?

Вечером я встретил ее у выхода из здания консерватории, и мы двинулись в Собиновский. Люшки, конечно, дома не оказалось (всё пиликает на скрипке, бедняжка!). Мы поужинали, и я сказал прямо:

– Сегодня я останусь у тебя.

– О! Вот так! – Петра чуть не поперхнулась чаем. – А Люшка? Ты... она придет, и как?

– Люшка придет поздно, и вообще она за стенкой. И вообще при чем здесь Люшка? Я и ты. А Люшка – нормальная, молчаливая, утром я скажу ей: «Коммунистический привет, Люшка! С добрым утром и хорошим днем!»

Петра сидела, почти окаменев.

– Я знаю, что ты и я... то е будет. Знаю, – повторила тихо, – но... Ты решил?

– Да. Я тебя люблю. Это, то есть наше всё, это должно быть.

– И я тебя люблю, мой Петер. Только...

– Что?

Она повела плечами, потом попыталась улыбнуться, тряхнула головой, рассыпав волосы на лицо. И сказала, вздохнув:

– Чай, чай, пей чай. Хорошо, потом, там... в комнате... там.

Конечно – там. Я сглотнул слюну, потом быстро допил чай. Я волновался. А она?

– Пошли, – позвал, – пошли в комнату. – Протянул руку и повлек Петру за собой.

В комнате было почти темно.

– Не надо свет, не включай, – попросила она и, остановив меня, прижалась всем телом.

Мы стояли возле дивана. И тут... Она охватила руками мою шею и заглянула мне в глаза. А я увидел ее глаза. Темные в темноте, они светились. И тут она заговорила. Мне навсегда запомнился тот наш диалог.

– Ты хочешь взять мое девство? – ясным шепотом спросила Петра. Я лишь кивнул. – Но если я отдам тебе мое девство, то я отдам тебе всё, всю себя, и это до конца, поймешь? До нашей старости. И когда ты станешь стариком и за-

болеешь, я буду ходить за тобой, разумеешь? Буду возить тебя в коляске и выносить за тобой. И мыть тело твое, разумеешь? Ты то е готов? Ты то е хочешь?

Я растерялся. Конечно, когда она произнесла слово «девство», я всё понял. Да, я хочу этого, очень хочу, ответил бы я просто и искренне, но всё, что она сказала потом, почти потрясло. Мне и в голову не могло прийти такое. Мы молоды, мы любим, мы хотим близости, мы вступаем в настоящую взрослую жизнь, а тут – какая-то старость, болезни, возить в коляске, выносить... Что выносить? Ах, да-да, кажется, понятно, что она имеет в виду, о господи!

– Откуда это знаешь? Откуда это так? Так! – чуть повысил я голос. – Про... про до конца, до старость... про возить в коляске и... и прочее?

Петра опять тряхнула головой, привычно рассыпав волосы по лицу. Но глаза я по-прежнему видел. Они светились.

– Откуда так? От ба́бички моей Кветославы. Она из Моравии, из Брно, я говорила тебе, да? Она мне про всё рассказывала, когда я гостила там, каждый год летом, а про это рассказала, еще когда я подросла только... э, лета двенадцать мне было. Про девство женское рассказала, про мужа единственного, моего мужчину, которому я должна отдать девство, и если ему отдам, то с ним должна быть до его конца, и про старость его. Это, сказала бабичка Квета, есть Протокол любви. Какой протокол? – спросила я ее. А она: то от Бога и Девы Святой, его должна подписать отдающая девство своей

этой кровью... Вот, рассказала, и теперь я всё знаю. Вот и спрашиваю тебя: ты хочешь взять мое девство? Ты к этому готов, ко мне до конца с тобой? Про жить до старости и до смерти твоей?

У меня мурашки забегали по спине. Эскадронами. Сверху вниз и обратно. Сначала эскадрон белых, потом эскадрон красных, с Чапаевым на лихом коне. Мне бы от страсти к полтолку взвиваться, а я чуть не трясусь от страха. Или от озноба... Старость! Смерть! Как про это сейчас? Петра, ты что?

Петра поняла. Черт возьми, она всегда всё понимала!

– Я тебя... тебе сделала страх? – но тут же поправились: – Я тебя напугала? Нет-нет, всё хорошо, хорошо, мой Петер! Если ты так хочешь и готов... если ты так со мной, так мой, то и я готова. Если ты так, то да. Бери.

Я продолжал стоять истуканом. Петра усмехнулась ласково:

– Хорошо. Ты это... тут, жди, а я постелю новое, чистое, а потом ты ложись, а я в ванную комнату иду, быстро.

Она перестелила диван, потом достала из шкафчика халат, молча указала мне на постель (дескать, раздевайся, ложись) и вышла в коридор. Я разделся, лег. Простынь обожгла холодом. Смутно слышал шум льющейся воды. Смутно чувствовал, что не готов к действию, к любви – Петра будто отодвинула мою страсть куда-то в сторону. Я понял, как она любит. Меня? Ну да, меня. Того, кто с ней, с кем она. Она – такая, она подпишет свой протокол своей девственной

кровью. Мне опять стало страшно. Она – да, а я-то, может быть, не такой?.. В комнате стало совсем темно. И тихонько вошла Петра.

Она подошла вплотную к дивану, стала надо мной, потом скинула халат и вся вытянулась. Я увидел ее. Всю. Стоящую. Во тьме. Силуэт. Нет, тело. Скульптура.

Эту скульптуру, это тело Петры в тот момент я запомнил на всю жизнь. Снизу вверх. Бедро, плоский живот, грудь, лицо. Нет, лица я не видел во тьме, только чуть светились глаза. Она видела, что я ее вижу, и ей это понравилось, я понял. Вот она склонилась надо мной, и ее грудь оказалась перед моим лицом. Две виноградные грозди, полные, сытые сентябрьские грозди, свисающие надо мной. Дразнящее «вот я, бери, открывай рот!»

Так прошла, верно, минута.

– Тебе хорошо? – послышался шепот. – Вот так хорошо?

– Да, – ответил я. – Ложись. – И протянул руку.

Петра улеглась, прижалась боком, обняла. Странно, мы молчали.

– Я тебя напугала, мой Петер? – опять услышал я тот же вопрос еще через минуту.

– Я понял, как люблю тебя, и, да, даже испугался.

– Нет-нет, так нени можнэ, так нельзя – любить и испугался!

– Любовь и страх несовместимы, – перевел я и усмехнулся: – А если так любишь, то боишься. Боишься потерять.

– Нэ-нэ, нени можнэ! – повторила Петра, но вдруг рассмеялась: – О, Боже, когда я близко с тобой, совсем близко, то опять перехожу на чешский – ну как себе говорю, с себе... с собой, да. Когда ты, то я с собой... Э, Петер мой, почему ты не делаешь это? Ты будешь меня брать? Я хочу, бери, да.

А я не мог. Нет, не физически, а... А как? И сейчас не могу выразить.

– погоди, я сейчас, – шепнул, – еще немного.

Петра протянула руку и стала меня гладить.

– Всё хорошо, Петер, всё твое прекрасно, сильно... О, Дева Святая, как это много, большой как!.. Я хочу его целовать. Хочу. Можно? А как?.. Э, вот так.

Я почувствовал ее губы, стало жарко и холодно одновременно. Ледяной жар, так бывает? Не знаю, не помню.

Помню только, что вскоре лег на нее и перед тем, как раздвинуть ей ноги, стал целовать глаза. Чтоб она закрыла их наконец, чтоб они не светились, не прожигали меня...

Потом (когда – потом? И сколько вообще это длилось?), потом вдруг услышал шепот:

– Люшка пришла.

– Ты слышала?

– Да, дверь хлопнула.

– А я не слышал.

– Хорошая Люшка! Пришла когда надо... когда уже... когда я стала пани, а не дева, – Петра опять тихонько рассмеялась. – Мне хорошо быть твоей пани. Теперь я принимаю

твои комплименты, мой Петер! Скажи мне: пани Новакова!

Я сгреб ее в охапку, стал целовать.

– А когда ты станешь моей женой, пани Симоновой?

– А ты хочешь? А хоть завтра! Венчаться завтра!.. Э, нет, Петер, это я смеюсь, венчаться мы будем в соборе Святого Вита, у меня в Праге, у самого архиепископа, но не у Йозефа Берана, к сожаленью, он сейчас в изгнании, уже не под домашним арестом, декуйи, спасибо... но там, там, у Святого Вита, поверь! Ты так хочешь?

– Хочу. Хочу – как ты. Хотя это сказка, конечно. Петра, ты реалист?

– Я пианист, – произнесла она вдруг совершенно серьезным голосом. – Я играю музыку. Моя любовь есть моя музыка, и ты, мой Петер, есть моя музыка. Мне ничего не страшно, и всё есть не сказка, а ты и я. Петер и Петра. Всё...

Она, Петра, была права. Мы и есть всё. Жаль, что бытие этого не принимало, не желало принимать. Бытию важно размножение, а не любовь...

Что было потом? Что еще – тогда, той нашей первой ночью?

– Тебе было очень больно? – спросил я.

– Совсем нет, – тут же отозвалась Петра, и опять серьезно: – Ты мой муж, а если так, тогда не больно.

Мне стало совсем легко, и захотелось подурачиться:

– Какой же я тебе муж, если мы не обвенчаны? И ты стала женщиной, а не обвенчана. Это не грех? Твой Бог, как он к

этому отнесется?

– Тут не Бог, а Святая Дева. Она позволяет, когда любовь.

– А, вот как! Вот так у вас, католиков! Если так, то, значит, можно.

– Да, вот так у нас. Святая Дева позволяет, если очень любишь. И Господь Иисус любил без освящения брака в храме Иерусалимском.

– Кого любил?

– Как кого? Марию Магдалину.

– Грешницу? Ту самую?

– Да. Отпустил ей и возлюбил. Любить – то е прощать. Любить можно и до венчания, и без венчания, Дева дозволяет. Она не позволяет дитя от любви убивать... Э, аборт, разумеешь?

– Да. А ты как?.. – я замаялся. – Как будет, если сегодня?..

– Э, нэ, нет! – Я скорее почувствовал, чем увидел, что Петра улыбается. – Сегодня нет, я знаю. Меня бабичка Кветослава обучала. Э, то е когда будет, а когда нет. Я хочу дитя, хочу от тебя, Петер, но это не сегодня, это потом, после венчания. Ты приедешь ко мне, мы пойдем к Святому Виту, и всё потом у нас будет, дитя.

Вот такой план выстроила моя Петра. Разумная католичка, романтик, пианистка. Она еще ничего не знала, да и я тоже – про бытие.

– Лежи, Петер... нет, встань, я новое постелю, чистое, а то... ну, разумеешь? И в ванную комнату схожу, мне надо.

И Люшке скажу, что ты со мной, а то она утром испугаться будет. Трястись будет. Хорошая у нас Люшка, тихая мышка. Ну, встань, Петер, я постелю новое...

Я улегся на новую простынь и уставил пустой взгляд в невидимый потолок. Я плыл. Я был счастлив. Я всё испытал. (Еще один романтик!)

Нет, не всё, оказалось.

Вернулась Петра, сбросила халат, легла, прижалась. И вдруг:

– Скажи, Петер мой, ты за эти годы... ты никогда меня не забывал?

Вот черт, я всегда понимал ее иносказанья, всегда понимал, что она имеет в виду! Вот и сейчас тут же понял. «Ты мне никогда не изменял?» – вот что хотела она спросить.

Я похолодел. Я мучительно помнил об этом весь последний год.

– Это было однажды. Я забыл о тебе на полчаса. А потом, уже через две секунды после... через две секунды – вспомнил... Это мрак.

Петра молчала. Вот и всё, подумалось мне. Конец. Она этого не переживет. А если переживет, то как? Оказалось – вот так:

– Ты меня любишь, – утвердила она. – Я знаю. Меня давно не было, долго, вэми долго. Мужчина долго не может, разумею. Ты ее, ту пани, не любил, я знаю.

– Да, – подтвердил я, – не любил, просто, понимаешь...

– Э, не надо говорить, я знаю. Знаю, Петер. Вот и говорю: не мучит. Э, то е не мучь себя. Я буду не помнить про это. Я не буду тебя винить. Почему? Прощать, так, да? Да, прощать. Я тебя люблю. Любить – это прощать. Так Бог говорит. Прощать, если любить. Не помни про то. Я тебя люблю. Всё простить тебе, всё. Надо простить... э, надо прощать. Любить есть прощать. Так...

Так мне отпустили грех. А больше я не грешил никогда.

Пройдет много лет, и я пойму то, что тогда только почувствовал: есть тот редкий случай, когда физическая близость – только способ обрести близость духовную, сродниться, срастись душами. То есть женское тело, которое я желаю и которым обладаю, – это туннель для проникновения в ее, моей женщины, душу. А если так, то сотворится наше родство. Конечно, с материалистических позиций это полная чушь, ибо природе важно как раз сугубо физическое: чтобы осуществлялось воспроизводство, а до прочего ей нет дела. Но человек – парадоксальное животное на Земле. Некоторым человекам любовь дана еще и для воспроизводства духовного.

Трагедия любви в том, что чаще всего этот туннель – глухой, то есть с наглухо закрытым, замурованным концом. Везет лишь избранным...

Той женщиной, о которой речь, была Петра. Только она. И благодаря ей я стал избранным.

Иногда события параллелятся, это известно.

Еще через несколько дней, поздно вечером, когда я вернулся от Петры (мы решили сделать перерыв на эту ночь, чтобы наконец выспаться), ко мне к комнату зашел отец.

– Потреплемся, Лёшка?

– Конечно.

– Тогда сугубо мужской разговор – не как отец и сыном, а как два друга. Идет?

– Естественно.

Я любил отца, несмотря на его нравоучительные беседы со мной, правда, дозированные. Например, о необходимости после окончания МГУ обязательно вступить в партию. Тут у нас возникали дебаты, даже споры. И вот сейчас – что, опять? К счастью, нет.

– Как твоя Петра? Расскажи мне о ней, что считаешь нужным.

– Да и нечего скрывать. Могу рассказать всё.

И рассказал. Про ее дела в консерватории, про квартиру в Собиновском, даже про ее упорное католичество (но это будто в шутку), про ее надежды на профессиональные успехи, про Льва Оборина, от которого она прямо-таки без ума.

Отец внимательно слушал, понимающе кивал, улыбался. Когда я иссяк, задал вопрос впрямую:

– Ты ее любишь?

– Да, очень.

– А она?

– Тоже.

– Прекрасно! И вы уже близки, как я понял.

– Да.

– Еще раз прекрасно. Рад за тебя. И какие у вас планы?

– Жить, любить.

– Лёша, это мне ясно. Но планы-то есть или нет? Личные планы?

– Есть. Через два года закончим свои вузы и станем мужем и женой. (Про венчание я не сказал – зачем удивлять или расстраивать работающего в МИДе члена КПСС, хотя человека нормального, к тому же хорошего?)

– И это правильно, – закивал отец, – сначала надо завершить образование. Это особенно касается Петры – она тут иностранка, она должна делать свое дело. Дело прежде всего. Вот кончит консерваторию, а ты свой журфак, а там видно будет. Да так да, и флаг вам в руки. Вот только... только пока чтоб не возникло проблем.

Я понял. И улыбнулся внутренне, вспомнив разговор с Петрой той нашей ночью.

– Всё в порядке, папа, этой проблемы нет и, надеюсь, пока не будет.

– И я надеюсь. Ведь всегда можно всё обсудить, сынок. Я имею в виду, что с любимой женщиной можно обсуждать

всё, даже самое интимное. Кстати, это еще один повод к духовному сближению, поверь. Тут нечего стесняться, ничего не надо пускать на самотек. Именно обсуждать, только деликатно, конечно. Так можно избежать многих проблем. И быть счастливым. Что такое счастье, знаешь?

– О, наконец – интересно!

– Иронизируешь? Зря. Счастье – это, если без выкрутасов, совокупность отсутствия и наличия. Отсутствие проблем и присутствие позитива. То есть не только минус болезни, минус потери, минус голод, война и прочее подобное, но и обязательно плюсы, удачи: любимые люди рядом, друзья, жена дети, семья, возможность работать с душой, или творить, или, – он рассмеялся, – или еще что-то, что дает радость, удовлетворение, не портит настроения. А настроение портят в том числе и личные проблемы. Нежелательная беременность, например. Ну ты меня понял. Замолкаю, всё, закрыли эту тему!

Я кивнул, улыбнувшись:

– Хорошо, закрыли. Как говорит Петра, разумею.

Отец был явно удовлетворен.

– Ведь мы с мамой только добра тебе желаем, сам знаешь. Будь умницей, и всё будет хорошо... Кстати, а почему бы тебе не привезти Петру к нам сюда в гости? Надо познакомиться, а как же! Приходите, поужинаем или пообедаем вместе, всей семьей. Да? Конечно! Поболтаем, посмотрим друг на друга. А там, глядишь, станем друзьями. Да? Так что

мы ждем вас в самое ближайшее время, только предупреди заранее, а то мама ворчать будет, что не успела чего-то. И смотри, через две недели мы всей нашей группой, с Громойкой во главе, едем в Белград к нашему любимому товарищу президенту Тито, черт бы его дернул, рассказывать ему, почему вдруг сняли товарища Хрущева. Так что не упусти это. Ну всё, пошел спать, и ты ложись, а то вид у тебя очень усталый... Я бы даже уточнил – измотанный. Ха-ха, молодец, спокойной ночи, девушке Петре привет!..

Вот такой папа. Хорошо еще, про партию не вспомнил – что вступать надо, ибо как же без этого пробиваться в международную журналистику. Ладно, это я так, брюзжу по молодости.

Счастливые два года. Лучшие наши годы, наполненные светом, звенящие.

Отец был прав: счастье – это когда никакого негатива и сплошной позитив. Петер и Петра, а до остального нет дела. Верней, кто-то и что-то вокруг есть, но никак не мешает, всё хорошо, спокойно, доброжелательно. И удачно. Так у нас пока. Удачно, бесппроблемно.

Конечно, удачно. С родителями хорошие отношения, Петра им нравится, а то, что сын редко ночует дома, уже не волнует. Сын же практически обосновался у Петры, там почти их квартира. «Почти» – потому что она временная, а еще Люшка-соседка. Но время тогда для нас не существовало,

а что до нашей Люшки, то она соседка тихая, незаметная, никак не мешающая, а главное, добрая. В общем, есть свой дом. Ну почти.

И еще: жизнь наполнена музыкой. Петриной музыкой. Она запойно учится, а я повадился пробираться к ней в консерваторию – и слушал. Слушал, как она играет, но слушал не только, но и других начинающих гениев. Я уже узнавал гениев состоявшихся – преподавателей, исполнителей. Оборин, Ойстрах, Гилельс, Флиер. С ума сойти! Я их слушал. Тайком и явно – на концертах. Это Петра меня пристрастила. И хотя не скажу, что стал понимать музыку, разбираться в ней, но я ее полюбил, это точно.

Значит, вот что еще вокруг нас – музыка. Темные глаза Петры сочатся счастьем. Полная жизнь: днем и вечером – музыка (учеба, концерты в консерватории или Гнесинке), а ночью – наша любовь. Полная жизнь. Петра стала женщиной совершенно, у нее – всё! И даже то, что нашими ослепительными ночами, когда мы совершенствовались в искусстве любви, даже то, что она, отдышавшись, опять принималась говорить о музыке, о консерватории, о своем классе, о том, что сейчас разучивает, это меня не то что не раздражало, а напротив, радовало. Я превращался в меломана. С любимой женщиной в кого только не превратишься, если она сама – чудо, а еще и увлекает в чудо. Музыка – чудо. Музыканты – чудо. Профессора – чудо. А уж Оборин!..

Я уже знал о нем многое. От Петры, конечно: был пери-

од, когда она только о нем и говорила. Лев Николаевич – ну прямо как Толстой, да, мой Петер, прямо как Толстой! Выдающийся пианист, победитель Первого международного конкурса имени Шопена в Варшаве. Еще в 27-м году, Петер, в 27-м! И потом еще много побед. Но заболел. Болезни, да. Поэтому сейчас почти закончил концерттировать. Зато, светилаась глазами Петра, зато с головой ушел в преподавание, в нас, студентов! Нет худа без добра. Кто у него только не учился (далее – перечисление известных и великих)! Вот чуть раньше, до меня, продолжала Петра, знаешь, кто у него учился? Владимир Ашкенази! Э, ты его знаешь? Как это – знаешь Давида Ашкенази, а не Владимира? погоди, вот послушай, известная история, но только тихо, шепотом! Владимир Ашкенази, он победитель Международного конкурса имени Чайковского в 62-м году, а в следующем году поехал на гастроли в Англию и... остался там. О! Молодец, да? Ну а здесь, то есть у вас в Союзе, его решили... э, как забыть. Был такой – и нет. Поэтому – шепотом! До сих пор в консерватории всякие разговоры, слухи об этом. Смешно, Петер, да? А он – гений! Я слушала его записи на пластинках, нам Оборин давал слушать, ему из Лондона привезли. О, класс!..

Вот, дело дошло до невозвращенцев. И до отверженных. Потому что я поведал моей Петре о Давиде Ашкенази, именно о Давиде, об отце ее гениального Владимира Ашкенази, живущего нынче в славном Лондоне. Так вот, сказал я моей любимой, был у нас такой известнейший и любимейший на-

родом певец – Вадим Козин. Строго говоря, эстрадный певец, шансонье, если по-западному. И аккомпаниатором его был Давид Ашкенази, виртуоз. Его аккомпанемент был не менее известен и любим, чем сам Козин. Но это до войны. А во время войны, говорят, Козин пел перед немцами. То есть давал концерты на оккупированных территориях. Ужас! Однако потом его, спасибо, не расстреляли и даже не посадили, а сослали в еще один славный город – Магадан. Знаешь, моя Петра, что такое Магадан? Эх, дремучая ты женщина, главного у нас не знаешь! Толстого любишь! Но чтобы знать Россию, надо знать не только Толстого, но и про Магадан. Сейчас расскажу.

Рассказал. А еще рассказал, что тот самый знаменитый Давид Ашкенази был аккомпаниатором помимо Вадима Козина и у других наших знаменитых эстрадных певцов-шансонье – Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко. А откуда я это знаю? А от моего деда. Он пластинки такие покупал, еще до войны, вот я и слушал потом, когда подрос. Эти пластинки до сих пор у меня дома. Вот придешь, Петра, еще раз к нам в гости, дам послушать. Если хорошо себя вести будешь. Это как? Господи, ты не разумеешь как? А, поняла наконец! Молодец, ты понятливая женщина! А красивая как-кая! Ты сегодня ночью стала еще красивей, чем вчерашней, ей-богу, а Бог не даст соврать, сама знаешь...

Кстати, о Боге. Петра, понятно, была верующей, даже упертой в этом, но при всем при том – слушающей. Она уме-

ла выслушать другое мнение, хотя потом спорила жарко. Но, повторяю, слушала. Бывало, даже соглашалась. Мы спорили, и это было интересно. С ней, Петрой, было интересно. А если так (то есть не только занятия любовью, даже с красивой и страстной женщиной), то это надолго, может быть, навсегда. Так у нас и вышло, хотя как вышло, про то потом опять же...

Ах да, я о Боге. Как и не знаток музыки, я не знаток Библии, но начал ее читать и указывал Петре на противоречия. Их там полно, кстати. И отдельных несуразниц. Особенно когда сравниваешь тексты евангелистов. Или когда наталкиваешься на, мягко говоря, странные речения и толкования. Вот по этому поводу мы с Петрой и спорили. Про «ловцов человеков» я уже говорил ранее. Это про то, как в Евангелии от Матфея. Встретив Петра и Андрея, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков». Вот кто был Ему нужен! – говорил я Петре. – Не духовные братья, сильные умом, а пойманные им (убежденным им, суггестером) слабые люди, сбившиеся в стадо, подавленные, неимущие и недобрые по сути, легко внушаемые, изначально верящие в чудеса. Вот таких он и ловил. А таких много, было и есть.

Ну Петра знала, что мне ответить. И отвечала. Это понятно, поэтому тот наш спор упускаю, как и прочие подобные.

А вот о самой Библии – забавно. В те годы купить Библию было невозможно, в моем доме ее тоже не было, в библиотеках вряд ли дадут, только в Ленинке или Историчке, и то по спецразрешению или для историков, философов – короче,

ученых-специалистов. Узнав об этом от меня еще по письмам, Петра купили мне Библию в Праге и сейчас привезла в Москву. А как купила? Оказывается, в Праге был и есть прекрасный магазин «Советская книга», в котором, рассказывала Петра, чего только нет! В этом спустя три года я убедился самолично – и раскрыл рот. И пожалел, что у меня нет при себе соответствующих денег и что (увы!) я не способен на воровство. В годы, когда не издавали Цветаеву, Мандельштама, Бродского, Набокова и еще полсотни высочайших литераторов, о чем говорить! Нет, вру: их изредка все-таки издавали, но, кроме спецраспределения внутри страны, весь тираж шел за рубеж, вот в такие магазины «Советская книга».

Но то – отдельная песня, а я про Библию. Прекрасное издание на русском языке и с иллюстрациями. Купив, Петра позабыла отодрать приклеенную бирку с ценником, и, переводя кроны в рубли, я ахнул: «С ума сошла!» – на что моя красавица царственно отмахнулась: «Папа дал. Это от него, подарок тебе. Отвези твоему Петеру, отвези», – так сказал и посмеялся.

Вот тебе и папа, член ЦК, коммунист! Ну да, но тихий католик. «Как мышка!» – вспомнил я Петрину фразу про то, что о вере в их семье – ни гу-гу!

И еще, если о тихих католиках. Оказавшись в Москве, Петра назавтра же отправилась – куда? Понятно, в свой

храм. Свой – то есть католический. А я и не знал, что в Москве такой есть. Ну со мной-то всё понятно, а вот Петра навела справки еще в Праге: есть такой храм в Москве, есть – Храм Людовика Святого Французского, и находится он на улице Малая Лубянка (ирония: по соседству со зданием КГБ, но это – моя ирония, а Петре я о том не сказал, чтобы не портить ей настроения).

Короче говоря, поехали туда. Петра почти приказала: «И ты со мной. Хочу, чтоб ты посмотрел, был со мной».

Посмотрел. Симпатично. Хотя странновато снаружи. Классический античный портик с шестью колоннами, а по бокам – две башни-колокольни. То есть никак не готика, а классицизм. Строили сей храм по проекту Жилиярди с разрешения императрицы Екатерины.

А удивило следующее. Мы приехали в середине дня, и во дворе храма, перед портиком, всю резвились дети лет восьми-десяти, гоняли мяч по асфальту под присмотром двух женщин. Все они лопотали-кричали по-французски. Выяснилось, это – дети с учительницами из школы при посольстве Франции, их приводят сюда, они посещают храм и играют во дворе. Очень мило, даже трогательно. И теперь понятно, почему тут всё связано с Францией – и название в честь короля Людовика IX, и католик-архитектор, и даже французские детишки.

Поглазев на росписи внутри, я оставил Петру заниматься своим делом (то есть молиться) и выбрался наружу. Галдели

дети, по асфальту скакал футбольный мяч, застревая в воронках кленовых листьев. Было солнечно, мягко, спокойно, и даже детский крик как бы говорил мне: всё спокойно, всё хорошо, за спиной – храм, а здание КГБ хоть близко, но далеко.

## 8

Петрина квартира в Собиновском, а вернее, наша с ней квартира, которая под номером 13, это была хорошая квартира. В том смысле, что не только уютная, а своя, верная, надежная. Хоть и с соседкой, но всё равно именно такая. Если помните, в романе у Булгакова имела место быть нехорошая квартира, а вот у нас – не в романе, а в жизни – была хорошая квартира.

В хорошей квартире под номером 13 обитали хорошие люди. О Люшке уже шла речь, о себе и так всё ясно, а Петра? Петра была полна достоинств (это я говорю без иронии). Ещё одно ее достоинство состояло в том, что она – абсолютно свой человек. То есть никак не социалистический, мягко скажем. И это при таком папе? – спросим еще раз. «С папой всё нормально!» – как-то поведала мне Петра и, подмигнув, приложила палец к губам – дескать, т-с-с!..

Вот и пришла пора рассказывать именно о новой поре. К сожалению. Как мы стали закручиваться в воронке жизни, которая происходила за окнами нашей хорошей квартиры.

Мы тут жили-любили, по ночам пили свет пьяными бокалами, а там, за окнами, оказывается, крутилась жизнь злой воронкой. Там – это не только в Союзе, это вообще почти везде. В Чехословакии тоже. Об этом, как я говорил выше, Петра намекала мне в письмах (помните, я упоминал о том, что от ее писем пахло политикой), но тут, тогда, вдруг возник Китай.

Это как – Китай? А просто: там началась «культурная революция». 65-й год. Неявно поддерживаемые компартией Китая и лично Мао буйства банд молодежи, погромы. Короче, хунвейбины. Дикие удары по культуре, интеллигенции и, под гребенку, по неудобным или подозрительным коммунистам, даже членам ЦК. К тому же отношения между СССР и Китаем никак не налаживались, хотя с нашей стороны такие попытки делались, особенно после снятия Хрущева, который и испортил эти распрекрасные отношения. Туда ездили наши делегации (это я знал от отца), но ничего не менялось, даже, напротив, обострялось (до событий на Даманском оставалось четыре года, но как-то исподволь всё шло к тому, что возможен вооруженный конфликт).

Сначала наша печать рассказывала о «культурной революции» скупно (всё-таки братья по соцлагерю!), но вскоре пошло-поехало. Так, со временем мы узнали о трагедиях. Знаменитая китайская певица Ван Фэй – ее унизили, пострадала вся семья. А за что? По миру гастролировала, в СССР приезжала. Потом пианист Лю-Ши-Кунь, победитель Меж-

дународного конкурса имени Чайковского, мировая знаменитость. Ему раздробили пальцы рук. А чтоб впредь не мог играть, гад! А то в Москве играл, гад!.. Ну и еще разные кошмарные события.

Но это – там, а при нас-то жила-была наша Люшка, Лю-Тао-Ци. Правоверная Люшка, и так мышка, совсем затихла. Ни слова. Ну а мы с Петрой и вовсе боялись о чем-то ее выспрашивать. Мы боялись за нашу Люшку. И верно. Прошло немного времени, ее вызвали в посольство и приказали собираться домой, на родину. Потом мы узнали, что Китай постепенно отзывает всех своих студентов и спецов, работающих за пределами своей страны, особенно из ненавистного СССР...

Это случилось утром. Люшка оказалась дома. Дома, а не в консерватории на учебе, как бывало всегда по утрам. Я этого не ожидал и вышел из нашей комнаты в одних трусах. В кухне – Люшка. Я обалдел (сейчас она в обморок грохнется!) и, извинившись, ретировался в комнату. Потом все вместе сели завтракать, пить чай. Люшка сказала лишь, что сейчас опять едет в посольство на Мичуринский проспект, теперь за билетами на поезд домой, в Шанхай, а сам отъезд послезавтра. А консерватория? А что консерватория, пожалала плечами Люшка, это до свидания. И заплакала. Петра обняла ее, стала гладить по худенькой спине, даже целовать. Я сказал: «Мы поможем тебе собраться, а послезавтра вызовем такси, погрузимся и проводим тебя до поезда». Люшка замахала

руками: «Нет-нет, товарищи, нельзя, я сам, сам, нельзя вас видеть вокзал, нельзя!»

Послезавтра стали собираться. Это вышло быстро, за пару часов, потому что вещей оказалось немного. Два баула, несколько пакетов с нотами, скрипка. Еще пакет с большим плюшевым медвежонком – наш с Петрой подарок на прощанье. Вышли на улицу, шел снег, холодно, поэтому теплое пальто (основная Люшкина габаритная вещь) было на хозяйке. Подъехало такси. Я загрузил баулы и пакеты в багажник, а футляр со скрипкой уложил на заднее сиденье. Потом всучил Люшке деньги на такси, ибо знал, что посольство выдавало своим студентам сущие крохи. Ну вот и всё. Знали, что больше никогда не увидимся (так и вышло). Теперь Люшка не плакала, молча расцеловалась с нами, и вообще ее лицо выглядело окаменевшим.

Прощай, Люшка, незагоревшаяся звезда скрипичного исполнительства! Дай тебе бог быть живой и с целыми пальцами, а мы будем тебя помнить, нам тоже кое-что предстоит, мы этого еще не знаем, но именно так...

И с той зимы (а шло начало 66-го) мы с Петрой остались одни в нашей хорошей квартире. Одни, потому что после Люшки к Петре никого не подселяли вплоть до ее отъезда в Прагу. А это еще целых полгода. И в эти целые полгода мы с ней жили только вдвоем. Плотно жили, поскольку я фактически переселился к ней. Жил с родной женщиной под одной крышей. В общем, муж с женой, только не обвенчанные

и без штампов в паспортах.

Это называется, нет худа без добра. Всё уравновешено в нашем мире: там – «культурная революция», а здесь – здесь благодаря такой напасти можно жить вдвоем под одной крышей. Чудеса! То ли больные чудеса, то ли нормальные. А что? – больное и нормальное у нас неразделимо.

Значит, вот такая жизнь, позитив с негативом (это к вопросу о счастье). Позитив – это наши солнечные ночи, а вечерами или днем в выходные мы успевали выполнять, так сказать, культурную программу. Ну, в Китае «культурная революция», а у нас с Петрой культурная программа.

Ходили в музеи, кино, театры, не часто, но все-таки. Отец достал нам билеты на Таганку, тогда гремевшую по Москве, посмотрели «Доброго человека из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир» и особенно понравившиеся Петре «Антимиры» Вознесенского. На одном из этих спектаклей Петра шепотом спросила, кивнув на сцену: «То е кто? Зовут как?» Оказалось, то е – Высоцкий. А как это она его выделила среди остальных? едь его песен мы тогда еще не знали.

Вот такой позитив. Теперь, что ж, о противоположном.

Ну да, началось с «нашего» Китая, с Люшки, теперь – Чехословакия, считай, тоже наша, потому что всё через Петру, ее боль.

Сначала она намекала о том еще в письмах, а сейчас – напрямую, нашими ночами. Это были долгие разговоры, дол-

гие ее рассказы, поэтому попытаюсь пересказать суть.

Речь шла, ни много ни мало, об «узнике совести», первом в тогдашней Чехословакии. Кто он? Пражский архиепископ, кардинал Йозеф Беран. Естественно, я и понятия не имел, кто это такой (ах нет, вспомнил, как-то Петра упоминала эту фамилию – дескать, архиепископ, который, к сожалению, нас не обвенчает). Вот что я узнал от нее, а она – от своего отца (тайно, тайно!) и от друзей-приятелей.

Сначала Беран был профессором богословия в Карловом университете в Праге. Потом – оккупация немцами, закрыты все чешские университеты. Беран, избранный уже епископом, открыто протестовал, и в 40-м году нацисты арестовали его, отправили в Германию. Несколько лет провел в концлагере Дахау, это когда уже шла Вторая мировая. Но выжил. В 45-м – освобождение. Вернулся в Прагу. Вскоре его избрали Пражским архиепископом. Но в 49-м – новая оккупация, тихая, советская. Беран – опять открытый противник нового режима. Тогда же арестован. Почти тринадцать лет в заключении, в тюрьмах, причем его переводили из одной тюрьмы в другую, чтобы мировая общественность и Ватикан не отыскали его следов и не могли как-то связываться с ним.

Вот тогда его признали «узником совести». Все-таки в 63-м году под давлением Запада его выпустили из-под тюремного ареста, но поместили под арест домашний, под неусыпный надзор в доме под Прагой, причем въезд в столицу ему был строго запрещен. Ватикан присвоил Берану звание кар-

динала и добивался от властей Чехословакии, чтобы ему позволили выехать из страны в Рим. И вот это произошло уже сейчас, в прошлом году, 65-м: кардиналу Берану наконец дали разрешение на выезд в Ватикан (со слов отца Петры, был достигнут дипломатический компромисс: Беран может выехать в Рим ценой высылки из Чехословании и лишения гражданства). Теперь он там, в Ватикане, с условием никогда не приезжать в Чехословакию и не обращаться с просьбой о возвращении гражданства...

Если вернуться к тем ночам в нашей хорошей квартире номер 13, когда Петра рассказывала мне об этом человеке, легендарном не только среди католиков, но, по ее словам, среди всех нормальных чехов, она была эмоциональна, и не раз я видел слезы в ее глазах.

– Он уже после Дахау стал национальным героем, символом чехов! Он один их первых выступил против коммунистов – за права человека! Он боролся за сохранение у нас католической церкви! Ведь коммунисты хотели всё реорганизовать, убрать епископат и избавиться от влияния Папы, Ватикана. А он не давал! Он – бельмо на глазу власти! Он оплот веры и наша совесть – совесть всех, верующих и атеистов, честных людей!

Я не удержался однажды:

– И твоего папы тоже?

Петра этот удар выдержала.

– Мой Петер, – вздохнула она, – я тебя люблю, и папу люб-

лю, и чтобы ты его любил, тоже хочу, потому что мой папа... э, как это сказать?.. Мой папа всё понимает, всё, Петер, но что он может сделать? Он коммунист, но... он честный человек, он католик, он болеет за кардинала Берана, он даже что-то говорил за него там, там, – повысила она голос, – разумеешь? И мы с мамой потом боялись, что его... э, нэ, не арестуют, а прогонят из партии. Ох, повезло!..

Проходило некоторое время, и Петра вновь возвращалась к этой теме. Это ее терзало.

– Мне рассказывали мои друзья по церкви. Это про те годы, когда Беран был под домашним арестом. Не ведаю, как у вас, а у нас... у нас, если католиков под арест, то их держат вместе, то е в одном месте. Там и епископы, и аббаты, и просто кто верует в Бога. Так им там легче, конечно, они вместе. А Йозеф Беран не так, он один, с ним только две или три монахини. Так вот, говорили мне, что люди из StB... э, то е у нас значит Служба безопасности, вот, эти люди иногда... как это?.. в пищу сыпали ему... да-да, поняла, подмешивали, да, всякие лечиво... лекарства, которые... э, возбуждают, да? Да, у мужчины чтобы... э, сильное желание быть с женщиной, разумеешь? А зачем? Чтобы он с монахиней. И заметить это! Ну компромат то е! И тогда – опять тюрьма. Ха-ха, но Беран – нэ! То е нет! Он всё разумел. И celibat свято знал. Он всё делал верно. Он с Богом всегда. А коммунисты – они без Бога, то е слабые злые люди. Пришли нам социализм, и вот теперь так.

Помню, я спросил, выслушав это:

– Ты нас ненавидишь?

Петра поняла и, кажется, даже испугалась.

– Петер мой! Ты зачем так? Есть твоя страна, и она хорошая. И красивая. А есть люди, которые без Бога, без совести и души. Но они сильные злым умом. Они взяли власть и... э, делать дураками весь народ. Вот и всё, мой Петер. Как это – я ненавижу русских, Россию? Нэ, нэ! – и добавила, обняв меня: – Ты это... ты со мной? Мы вместе? Ты меня разумеешь – и про Йозефа Берана тоже?

Я всё разумел. И про Берана тоже. И главное, я любил эту женщину. Я ж говорил выше: если она красивая и совершенно родная, то как иначе? Вот только чтоб ей больно было – не хочу! А как это сделать, чтобы только свет, только любовь, только она и я? Не знаю. Или это вообще невозможно?

Тогда мне, как и Петре, было двадцать два года. Но то, что «это невозможно» я уже, кажется, понял.

В то лето мы окончили учёбу: я – свой журфак, Петра – консерваторию. Наши два года вместе подходили к концу. Петра возвращалась в Прагу, надеясь устроиться в столичную филармонию, чтобы концертировать на родине, а потом, даст Бог, и за границей. Все основания к тому у нее были.

А я? Я пока не определился. Долгие разговоры с отцом на эту тему давали лишь наметки. Была у меня сладкая мысль попасть в Праге в наш корпункт ТАСС, чтобы работать и

жить при моей Петре, однако папа считал, что пока, то есть сразу после окончания журфака, это почти невозможно, тем более для не члена партии. Вот вступишь через год-полгода, тогда я и начну долбить этот канал, повторял он... М-да, и как мне быть? Значит, попасть к Петре, жить фактически вместе, любить ее, обвенчаться в соборе Святого Вита, как она мечтала, возможно только так, только вступив в партию? Вот тебе и выбор, товарищ Симонов-младший!

Ладно, оставим это на потом. А пока я еще с Петрой. Еще целый месяц. Вузы позади, теперь отпуска. Конечно, едем вместе. Куда? Она очень хочет к морю – значит, едем на юг. Решили – в Крым, конкретно в Ялту (к Чехову, доложил я Петре). Я там еще не бывал, она, конечно, тоже. Едем дикарями, снимем что-нибудь. Отлично, обрадовалась Петра, к морю и Чехову, дикарями, Петер и Петра – то е краснэ! (прекрасно).

Поехали, точнее, полетели. Потом от Симферополя – на долгом троллейбусе до Ялты. Петра глядела в окошко, не отрываясь, особенно после Алушты, когда покатали поверху вдоль берега моря. А в Ялте – повезло! – сразу сняли комнатку в пяти минутах ходьбы от главной набережной. Небольшой домик, наша комната – по деревянной лестнице на второй этаж, под самую крышу. Тенистый садик, там стол с плетеными креслами под листвой акаций и фруктовых деревьев. В общем, действительно прекрасно.

Началось праздное времяпровождение. Море, пляж,

прогулки по Ялте, поездки в Массандру и Никитский ботанический сад, Алупку, Симеиз, Мисхор. Еще, конечно, музей-квартира Чехова, посещение храма (к радости Петры, в Ялте на Пушкинской улице оказался католический храм, название которого сейчас не помню – что-то связанное с Девой Марией), еще фуникулер. По вечерам – долгие прогулки вдоль набережной, кафе. А по ночам наша любовь. После этого выбирались в сад, глазели на звезды. Таких звезд Петра никогда не видела, даже в Сочи, где была с родителями после девятого класса. Еще мы читали, днем, после обеда, у себя в комнатке. В основном Чехова.

О предстоявшей скоро разлуке старались не говорить. Но в один из дней вышло так.

Мы лежали на пляже. Петра загорала мгновенно – вот и теперь стала почти черной. Когда она шла в купальнике, балансируя на крупной гальке, мужики на нее оглядывались. Это понятно. А я и сам не мог наглядеться. Вот и сказал:

– Ты такая красивая в купальнике, я не устаю любоваться тобой.

– Ай, Петер, ты что, не привык ко мне в нашей квартире за два года, а еще и здесь? Посмотри, сколько тут женщин, все такие красивые!

– Да, смотрю. Но красивей твоего тела тут нет. Как я буду без тебя?

– Да, так. А я? Как я буду без тебя? – и вдруг, почти шепотом: – А ты... ты не сыт мной?

– Нет, я голоден, я всегда хочу тебя.

– Мы с тобой так много это делали, два года – о! – и здесь, а всё равно. Да?

– Да, – я усмехнулся. – Мы с тобой вели регулярную половую жизнь, как у нас говорят.

Она поморщилась:

– Ой, плохо говорят! Нет, пусть так говорят, но у нас с тобой не то е. У нас... Когда ты... когда ты только... в самом начале... в меня... – Она никак не могла подобрать нужные слова, и я подсказал:

– Когда я только вхожу в тебя...

– Да-да, так! Когда ты толькоходишь ко мне... в меня, тыходишь через то е в мою душу. Разумеешь?

Я только покачал головой, смолчал. Ведь она повторила вслух то, о чем я однажды подумал. О том, что это – туннель, через который я стремлюсь в ее душу, стремлюсь и проникаю в ее душу, и так сотворяется наше родство, а такое дано лишь избранным. Любовь для избранных. Петер и Петра.

# Часть вторая

*А если само время есть дьявол, то как?*

## 1

В середине августа я проводил Петру в Прагу. Завершилась наша первая жизнь. Она обняла семь лет – с пятнадцати, когда мы познакомились по переписке, и до двадцати двух, когда, после двух лет жизни в Собиновском переулке, провели месяц в Ялте.

И что эта первая жизнь? Можно сказать так: несмотря на долгие периоды разлуки, она была прекрасной, если на минуточку закрыть глаза на последние события – историю с Люшкой и (заочно) с кардиналом Бераном.

Теперь начиналась новая жизнь, вторая, и начиналась она без Петры.

Опять письма и – хоть изредка – телефонные перезвоны. Что я знал? Петру приняли в Пражскую филармонию. Конечно, удача. Престижно. Да и место отличное: самый центр, в Старом Граде, почти на набережной Влтавы, главный зал там – знаменитый «Зал Дворжак», где ежегодно проводят фестивали «Пражская весна» (потом эти два слова в кавычках, но совсем в ином значении, всем нам запомнятся на всю

жизнь!). И главное, сам филармонический оркестр, в число исполнителей которого вошла Петра. Теперь – работать, работать, репетировать с оркестром, а еще готовить сольные выступления, свои программы для концертов. В общем, забот полно.

«И то е хорошо что много дел, – писала Петра, – так я о тебе мой Петер буду хоть немного меньше тосковать. А то вэлми мучительно. Так привыкла к тебе что ты рядом каждый день». (Запятые по-прежнему отсутствовали.)

Я тоже вэлми тосковал. А вот дел было куда меньше. Меня приняли на работу в «Известия» (конечно, отец поспособствовал). Казалось бы, удача, лучше не придумаешь, но как бы не так, ибо я оказался в отделе писем. Та еще тягомотина, всего лишь отдел писем! Отвечать на всякие вопросы и прочая ерунда. Папа успокаивал: это этап, начальный этап, его надо достойно пройти, а впереди – новые рубежи, интересная работа, поездки. Если, конечно, в партию вступишь. Ты еще не забыл свою мечту – корпункт ТАСС в Праге?

Не забыл. Более того, терзался этим постоянно. Что за дьявольский выбор: либо партия, но тогда я в Праге с Петрой, либо не мараться, но тогда жить без Петры в Москве? Ну и как?

Отец не педалировал, а только кивал, улыбаясь. Это означало: зрей, зрей, выбирай главное, а это, как он однажды сказал, благополучие. А оно – что? Нет, не большое пузо от сытости, дача, машина и прочее, а семья, любимая жена и дети.

Но их необходимо обеспечивать. Тебе обеспечивать, мужичине! А партия – это лишь способ, что ж, у нас здесь – так.

Дьявольский выбор. Или это я такой идиот?..

Тайн от Петры у меня не было, к тому же интересно, что она скажет. Даже не то что интересно, а необходимо.

Я написал ей обо всем, с подробностями, хотя в принципе она знала о стоявшем передо мной выборе, мы это обсуждали летом в Ялте. Тогда Петра покачала головой, повздыхала: «Петер мой, бедный мой Петер, я буду молчать, это ты, ты, это решать тебе, а я всё твоё приму». Теперь она ответила так (запятые здесь ставлю сам):

«Помнишь, мой Петер, я тебе про мою бабичку рассказывала, про Кветославу из Брно? Чудная моя бабичка Квета! Она от Бога и с Богом. Она меня всему учила, и про любовь, про девство, помнишь? Прощать надо, если любишь, так говорила мне. Как Господь наш Иисус, когда воскрес, простил Петра, хотя тот трижды отрекся от него, и опять его, Петра, приблизил, и сделал апостолом. Простил! Я тебе тоже простила, помнишь? Но вот это... Вот мой отец. Он с коммунистами, член ЦК, но он хороший человек, он тоже с Богом, он наш. А бабичка Квета не любит его. Зять мой, говорила мне, грешник. Отец он тебе хороший, а мне – грешник. Он **товарищ Новак!** Он не пан Новак, он **товарищ!** А то грех.

Всё, мой Петер. Я тебе ничего не говорю, не советую. Это твоё, решать тебе. А я – я твоя женщина,

невенчанная жена, поэтому приму всё».

Вот так начиналась моя вторая жизнь. С дьявольского выбора. С решения.

Я принял его. Бабушка Кветослава права: это – грех. Однажды я согрешил, изменив Петре, другого греха не будет. Пока она со мной. Пока вообще она есть.

И кто знает, не будь Петры тогда со мной, то, возможно, я и вступил бы в партию. А с Петрой – нет. Понимала ли она, что это благодаря ей? Что я упустил возможность уже вскоре работать в Праге и быть с ней именно потому, что у меня есть она – такая! Парадокс, и опять же дьявольский.

Отцу я не сказал о принятом решении – делал вид, что еще думаю. А Петре сказал, точнее, написал. Не так выспренно, как славословил выше, а просто.

«Ты умеешь прощать. Вот и прости меня. Я буду без партии – значит, ты без меня, а я без тебя. Но пока. Потом мы что-нибудь придумаем. В конце концов, есть же реальные решения. Например, ты приедешь в Москву, выйдешь за меня замуж. Как-то всё у нас сложится, и с домом, и с твоей фортепианной деятельностью. Так?»

Она ответила: «Так». В очередном письме. Письмо было про ее успехи как пианистки и про нашу любовь. И лишь в самом конце про это, про нашу проблему, про то, что у нас всё сложится: «Именно так, мой Петер, сложится, так, так!»

Странно или нет, но через год я оказался в Праге. Но не потому, что, вступив в партию, стал работать в корпункте ТАСС (эту тему мы закрыли).

Впервые – в Праге, опять с Петрой. Лето 67-го. Мой первый отпуск.

Как оказался там? Через ЦК компартии Чехословакии. Смеюсь? Да нет, правда: через ЦК. Помог отец моей Петры. После обсуждений с дочерью, как поспособствовать моему приезду в Прагу, пан Густав, член ЦК, переговорил с кем-то из высших своих, потом позвонил кому-то в Москву и попросил, чтобы мне выдали визу, а приглашение для меня он организует. Так и вышло, визу на месяц я получил, хотя и пришлось собирать всяческие необходимые для выезда бумаги, брать в «Известиях» характеристику и прочее.

Короче говоря, я в Праге. И главное, мы с Петрой вдвоем под одной крышей. «Ты что мой Петер какая гостиница! – писала мне она. – Моя подруга уезжает на отдых я уже говорила с ней, просила дать нам такую возможность, она сказала – да. Будем жить в ее доме! То е вэلمي удобно: Велесловинова улица недалеко от Карлова моста у метро «Староместска» в самом прекрасном центре!!! А к моим мама и папа будем приходить в гости. А и что – они уже знают, что мы как муж и жена. Как почти муж и жена».

Да, как почти муж и жена. Я не видел «почти жену» почти год, после того как проводил ее на родину, когда мы верну-

лись из Ялты. И вот – увидел. Еще похорошела! Помните, я писал, что она достигла своего пика своей красоты, где-то к двадцати пяти годам. Ну вот, а сейчас ей было двадцать три. Прямо Анук Эме, честное слово!

Что говорить о наших ночах и о впечатлении от Праги! О ночах – тут всё ясно, а что до Праги, то я в нее не то что влюбился – я был очарован ею, покорен. Где мы только не ходили, не ездили! Кстати, ездили на служебной машине пана Густава, которая утром отвозила хозяина в его ЦК, а после того была в нашем распоряжении до шести вечера (очень предусмотрительно с его стороны!). Конечно, Петра привела меня в свою филармонию, знаменитый «Рудольфиум», я посмотрел на пустующий «Зал Дворжак» (дело было днем), а потом она повлекла меня в маленький и тоже пустой репетиционный зал с роялем и, усевшись за него (а я – в кресле единственным слушателем), полчаса играла Шопена. «Почему именно Шопена? – ответила на мой вопрос: – А он и есть любовь, мой Петер, самая чистая. Серебряные трубы, поющие в облаках».

Ну а еще храмы, как же без них! Собор Святого Вита, где, как мечтала Петра, мы обвенчаемся («Скоро, скоро! Вот постой немного, я схожу в задние комнаты к священнику, моему крестному отцу и духовнику, и скажу ему, что мы готовы. Ты готов, мой Петер? Ну то е шучу, смеюсь пока! Потом схожу... А вообще-то архиепископ Пражский, им до сих пор наш Йозеф Беран, которого лишили гражданства и теперь он

в Риме, в Ватикане. Теперь он кардинал. Я тебе всё про него рассказывала, помнишь?»).

Помню, помню, я всё помню, всё, что связано с тобой, моя Петра. Куда теперь ты меня повлечешь? А, вот!

Вот – это, конечно, собор Девы Марии. Ну можно ли без Святой Девы, это ясно! Петра как вошла со мной в придел, так сразу опустилась на одно колено. И стала креститься и шептать что-то на своем языке. Потом повлекла за свечками. Купили, зажгли, установили их в подсвечники перед алтарем. Как раз зазвучал орган, вознося звуки под высокие готические своды. У меня мурашки забегали по спине, хотя в тот день было довольно жарко. Органные реки, текущие вверх. «Это Бах, Бах, – зашептала Петра, – знаменитая «Токката и фуга ре минор», мой Петер. О, волшебство! Как же в Бога не верить после то е, а?»

Вышли наружу. Теперь Петра рассказывала: «Этот храм правильно называется собор Святой Девы Марии перед Тыном» или Тынский храм. Тын? Это... ну, то е – огороженное место, плац с огородками. Самый готический храм в Праге. Три нефа, видишь? А башни какие! Их высота семьдесят метров, о! Строили долго, как и Вита, с середины XIV до, кажется, начала XVI, но Вита строили еще дольше. А орган здесь – самый старый в Праге, не хуже, чем у Вита. Устал? Ну тогда поедем сейчас к...»

Куда-то мы поехали еще. Назавтра – еще. Например, на Бертрамку, место, где дом, в котором всегда останавливал-

ся Моцарт, когда приезжал в Прагу. Вообще Петра жила музыкой – Шопен, Бах, Моцарт, другие. Музыка – это была ее жизнь. Ну и наша любовь, конечно. И Прага. Ее Прага, моя. Моя – в смысле, мною разглядываемая и полюбленная. Моя – с Петрой за руку, как когда-то впервые мы ходили по моей Москве. Давно это было, восемь лет назад. Еще не целовавшие друг друга влюбленные мальчик и девочка-иностранка, только что окончившие, каждый у себя, девятый класс. Давно...

Что еще особо запомнилось тогда? Два разговора – с паном Густавом за обедом и с Петрой в последнюю ночь.

Когда улыбчивая пани Власта, прибрала посуду на столе и отправилась в кухню готовить кофе, а Петра в соседней комнате с кем-то говорила по телефону, пан Густав решил, что теперь самый момент для интимных вопросов.

– Алексей, какие у тебя планы на будущее?

– В смысле работы?

– Ну и так, да. Ты говорил, что в твоих «Известиях» тебе скучно. И что?

– Я хотел, верней, мечтал попасть в пражский корпункт ТАСС, чтобы быть здесь. Здесь и с Петрой. Но не выходит, к сожаленью.

– Почему так?

– Во-первых, я еще начинающий журналист, а место за границей надо заслужить.

– Это понятно. Но у тебя есть отец... э, ответственный

товарищ в Министерстве иностранных дел, он что, не поможет? Ему не откажут, я полагаю так.

– Сейчас откажут. Потому что я не коммунист, не член партии.

– Ах да! Ну и что – вступи! Будешь жить в Праге несколько лет. Петра будет рада. Да и мы с пани Властой тоже.

Я вздохнул. Что, рассказывать правду? Что не могу я, не могу!

И рассказал. Пан Густав слушал внимательно и, показалось, безразлично. Зря так показалось, я ошибся. Просто мой собеседник умел держать себя в руках. И даже не среагировал на то, что к нам вошла Петра, закончив телефонный треп. То есть не переменял тему.

– А, дочка моя, садись с нами! Вот твой Алексей говорит, что не может вступать в партию. Что ты думаешь?

Петра не смутилась:

– Это решение Алексея, Петера. Если Петер так, то я рада.

– Но если он так, то он не будет в Праге. Так?

– А так я не рада. Но рада, что Петер так решил – не в партию.

Пан Густав развел руками:

– Ты настоящая пани! Ты – никакой логики!

– Отец, то е хорошо, что я настоящая пани. Я выбираю пана, и когда выбрала, то тогда – какой он есть. А он есть вэлми хороший, настоящий. Я не хочу с партией между нами. Э, прости, отец, ты знаешь, что я всё разумею – и про

тебя, и вообще, но ваша партия...

Пан Густав поднял руку – дескать, стоп! И вдруг тяжело вздохнул:

– Ты, Петра, настоящая, да. Ты всё понимаешь, и я всё понимаю. Однако... я думаю, что скоро придут перемены. – Поскольку мы с Петрой внимательно молчали, он продолжил, но тихо и выжимая из себя короткие фразы: – Да, перемены, у нас будут перемены... Э, так будет у нас, а в твоей большой стране, Алексей, не похоже. Но у нас... у нас возможно, возможно. Э, товарищ Новотный... его нежелание менять свой авторитарный стиль... Сразу президент и секретарь ЦК... Обидел словаков. Я знаю, зреет оппозиция в нашем ЦК. Готовится пленум. Думаю, он будет уже осенью. Если русские коммунисты из Кремля не будут давить... э, вмешиваться, то... Хотя, боюсь, Новотный станет звать на помощь Москву... Да, в ЦК есть люди... Александр Дубчек, например. Он, да, словак, но... Вокруг него есть люди, да... сё возможно. Хотя...

Он замолчал. И Петра задала главный вопрос. Для семьи главный:

– Otče, jste kdo? S kým? (Я кое-как понял – ну что-то типа того: отец, а ты с кем?)

Пан Густав усмехнулся, потом глянул на дверь:

– С Дубчек. Матке нэ ховбрит! – почти шепотом ответил ей, и я опять понял: «Матери не говори!» – Потом продолжил обычным тоном: – Я очень хорошо! – И уже в сторо-

ну кухни, громко: – Власта, драхи, где наш кофе, мы ждем, ждем!

Пани Власта, названная «дорогой», не заставила себя ждать...

По дороге, когда мы возвращались из гостей к себе на Велесловинову улицу, Петра сказала:

– Отец прав – зреет, зреет. Молодежь, собрания тихо... то е тайно. Разговоры, разговоры. И у нас в филармонии тоже.

– А ты? – задал я вполне уместный вопрос. Типа того же Петриного вопроса отцу: а ты с кем?

– Я? Я с ними, со всеми нормальными. Как отец с этим... э, то е, Дубчек, да?

– Вроде да.

– Вот и я. Все нормальные хотят, очень.

– Может, ты не очень? Это не опасно?

– А его преосвященству Берану было не опасно? Опасно. И с немцами опасно, и потом с коммунистами. И что? Как нам иначе? Если с Богом и совестью.

В ночь перед моим отъездом мы не могли заснуть очень долго, всё говорили и говорили. Завтра придется расстаться, и надолго. Мне вдруг показалось, что теперь нам не увидаться уже никогда. Ну если не никогда, то много лет. Как-то вдруг показалось. Какое-то мерзкое предчувствие. А отчего оно – не понять.

А тут еще Петра заплакала. Это было не в ее характере.

Помню, я видел слезы в ее глазах лишь однажды, когда мы жили в нашей хорошей квартире в Собиновском – тогда она рассказывала мне о том самом несчастном архиепископе Йозефе Беране. И вот – сейчас.

Я обнял ее горячее голое тело, стал целовать лицо, слизывая слезы на щеках, в углах глаз. Она успокоилась. И заговорила тихо:

– Я не боюсь никогда, я сильная, а теперь мне страшно. Не понимаю – почему? Как это по-русски? Тоска, да. Мне хорошо, а тоска. А хорошо знаешь почему? Отец хороший, он понял, что пора, пора, что надо менять, стал с ними... ну, как он сказал, оппозиция. А страшно. Если с ним что... И ты, мой Петер. Ты не стал с партией, ты хорошо решил, ты, как я... но и страшно опять: ты сгубишься там, а я тут без тебя.

– Чепуха! Я не сгублюсь, проживу без партии, а ты без меня не будешь, ты приедешь ко мне или я к тебе приеду, и мы обвенчаемся. И пошли они все к черту!

Петра зашмыгала носом, потом усмехнулась:

– К черту – то е хорошо. То е к дьяволу, – и добавила после паузы: – А если само время есть дьявол, то как?..

Этих ее слов я не забуду никогда.

## 2

Где-то уже осенью (кажется, в октябре-ноябре) отец нако-

нец всё понял. Про меня понял. И сказал, вздохнув:

– Ты балбес! Ты хороший человек и балбес одновременно. Это две стороны медали твоей личности. Интересно, как твоя Петра относится к этому?

Я улыбнулся:

– Она считает, что обе стороны моей медали вполне положительные.

– А, вот как! Ну вы точно – два сапога пара.

– Вот это верно!

– Значит, она приняла твое решение не оказаться в Праге?

– Ты ведь прекрасно понимаешь, что она приняла другое мое решение, которое для нее главнее.

– Да понимаю, черт вас дери! – Отец отмахнулся: – Ладно, сменим тему... А кстати, знаешь, в Чехословакии какая-то буза, но исподволь. Что-то зреет. Или, не знаю, пустые сполохи, возможно.

Я насторожился. Из недавно полученного письма от Петры я знал, что в Праге что-то происходит.

– И что ты знаешь?

Отец заложил руки за голову, потянулся.

– Что я знаю? Да толком немного, почти ничего. Новотный всем надоел, это давно ясно. А сейчас... Они созвали пленум ЦК, но ничего не могут решить, договориться. Раздрай там, вот что известно. В их ЦК раздрай. И, говорят, народ зашевелился... А этот их ЦК, этот долгий пленум – ну как конклав в Витербо по избранию Папы: сидят, говорят,

спорят, каждый своё, своего кандидата, а единого выбрать не могут.

– А мы? То есть что Москва? (Законный вопрос с моей стороны.)

– Мы? – отец хмыкнул. – Тут Новотный тоже всем надоел. Поэтому смотрят, выжидают. Нет, конечно, негласные консультации идут, и разведка работает, но... В общем, пока выжидают наши товарищи из Политбюро. – И тут вспомнил: – Интересно, а наш знакомый член ЦК в Праге, товарищ Густав Новак, он что? Не знаешь от твоей Петры?

Какие тут тайны от отца? Я поведал ему о нашем разговоре с паном Густавом за обеденным столом. И о том, что потом мне говорила Петра. Отец покачал головой:

– О как! Вот тебе и папаша Густав! Значит, он в оппозиции к нашему дорогому Новотному! Молодец! Хотя это риск, ой какой риск, сынок!.. Кто, говоришь, там заводилой – некто Дубчек? Да, слышал о таком, мне рассказывали в МИДе. Странно, он словак.

– Это что, имеет значение?

– Почти да. Чехи предпочитают, чтобы Чехословакией руководил чех.

– А, ясно!

– Ясно, ясно! – передразнил отец. – Тебе всё ясно! Лучше Петре напиши и посоветуй, чтоб она не совалась в эти дела, всякие народные волнения. Революционерка! Пусть на рояле играет, выступает с оркестром, вот это ее дело! Понял?

– Напишу, – пообещал я. – Написать-то я напишу...

– Ладно! – отец поднялся из кресла и сказал, идя к двери из моей комнаты: – А если вернуться к нашим баранам, а точнее, к одному барану, то на днях тебя вызовут к главному редактору твоих «Известий», будь морально готов.

Я чуть не ойкнул:

– Это зачем?

– Затем, что пора что-то делать с молодым, но беспартийным журналистом.

Через два дня в мой отдел писем позвонили из секретариата газеты и сказали, чтобы товарищ Симонов поднялся к заму главного. А почему не к главному? – усмехнулся я про себя.

Этого самого зама мне неоднократно приходилось видеть на общих собраниях коллектива и всяких летучках. Теперь впервые мы оказались один на один. Нормальный мужик, с юмором, прошедший по всем ступеням журналистской карьеры, а нынче в основном администратор. Разговор занял минут пять. Если коротко, меня переводили из отдела писем в отдел культуры. Это хороший, нормальный этап для вас, объяснил зам, закуривая, это новое для вас общение с интересными, творческими людьми, искусство, культура, гастроли и прочее, поездки по стране, всякие театральные и киношные премьеры, фестивали, наши и зарубежные... В общем, разберетесь, вам поначалу всё объяснят – главное, ка-

кое у вас будет перо, интересное, бойкое, умное или нет. Короче, вперед, успехов, надо расти, расти!..

Так я оказался в отделе культуры, где мне надо было расти. Да нет, это неплохо, решил я, ибо Петра – это тоже культура, буду писать про нее: талантливая пианистка из социалистической Чехословакии, к тому же молодая красавица, выпускница Московской консерватории, ученица Льва Оборина, солистка национального оркестра всемирно знаменитой Пражской филармонии, выступит (где? ну там-то, там-то) с программой из произведений... (далее великие фамилии).

Поначалу я не слишком беспокоился за Петру. То есть беспокоился, конечно, но полагал, что потихоньку всё уляжется – наверху погрызутся, кого-то снимут, кого-то назначат, и на том процесс завершится. Однако после того как в течение осени, а затем зимы уже начавшегося 68-го мне стали известны некоторые детали, настроение изменилось. Известия о «деталях» поступали от Петры. Странно, эти ее письма не перлюстрировали. Что же дремлет наш родной КГБ?

Вот что я узнал. Обстановка в Праге накаляется. Город взбудоражен, особенно после Съезда писателей (при чем тут писатели, я тогда не знал, а Петра не объяснила). Начались студенческие волнения. В учреждениях культуры – тоже («У нас в филармонии разговоры разговоры крики об-

суждения, – писала Петра. – Мы ходили на демонстрацию но пока нас не трогают»). Но вскоре – тронули. Началось. Студенты пошли с песнями по городу, и перепуганные власти стали давить их машинами, загоняя людей в тупики и буквально размазывая по стенам.

Далее. По радио и в газетах – призывы к реформам, причем удивительно, что это исходит в основном от коммунистов. Но отношение к русским пока доброжелательное.

Далее. Теперь всем ясно, что разгон демонстраций и нежелание менять авторитарный стиль правления и (вот еще что!) игнорирование требований словаков о введении федеративного устройства Чехословакии – всё это создало в ЦК сильную оппозицию. Основное требование – прекратить совмещение двух и более должностей. То есть речь о Новотном.

И вот финал (промежуточный?): в январе 68-го Новотный снят с поста первого секретаря ЦК КПЧ, а новым первым секретарем избран... да-да, тот самый Александр Дубчек (хотя он и словак).

Эту последнюю новость я узнал еще раньше – не из письма Петры, а по нашему ТВ. Потом и от нее. Отец тоже всё знал. Это невероятно, но это так, сказал. Значит, пан Густав верно просчитал, чувствовал, на кого ставить. Я не согласился: это не расчет, это он искренне, по зову души. В ответ отец усмехнулся: ну да, коммунист и католик в едином обличье! Но все-таки добавил: дай им бог удачи, хотя, боюсь, наши их не отпустят далеко.

Печально, но тут отец как в воду глядел. Но еще было время.

Петра сообщала: Новотный, оставаясь президентом страны и членом ЦК, всюду препятствует проведению намеченных реформ, поэтому не только среди народа, но и в ЦК требуют его отставки уже и с поста президента.

И вот еще, писала она в новом письме (оно тоже спокойно дошло до меня): нарастают антисоветские настроения. Курьезный, но показательный пример: 15 февраля на Олимпийских играх в Гренобле хоккеисты Чехословакии обыграли сборную СССР, и это превратилось во всеобщий национальный праздник.

И наконец финал (тоже узанный по ТВ): в конце марта 68-го Новотный подал в отставку со всех постов. Новым президентом стал Людвиг Свобода.

Так начался период надежд – знаменитая «Пражская весна».

### 3

Говорить о тех пяти месяцах, с апреля по август, до дня введения в Прагу десантных и танковых войск, нет смысла – всё это описано, рассказано, показано. Тем более я не очевидец. А вот Петра была очевидцем. И в конце концов, речь здесь о ней, именно о ней, хотя и обо мне частично. А еще о времени, которое... Впрочем, процитирую саму Петру: «А

если само время есть дьявол, то как?»

Вот именно – как?

Ладно, коль о Петре, то так.

В мае я получил от нее очередное письмо, и получил его необычным способом – почти по дипломатической почте.

Раздался телефонный звонок, и некий женский голос с милым моему сердцу чешским акцентом сообщил, что для меня есть, как было сказано, послание, которое надо забрать в посольстве Чехословакии. Адрес, телефон, время. Я поехал на улицу Юлиуса Фучика, это относительно недалеко от метро «Белорусская».

Там в холле позвонил по внутреннему телефону, вышла миловидная дама среднего возраста, уточнила мою фамилию и передала письмо. «То вам от товарища Новака», – сказала.

Письмо было, конечно, от Петры, а не от ее отца. Она мне всё объяснила. Привожу текст в моей редакции, в том числе с пунктуацией и без чешских словечек, которыми обычно изобиловали письма моей любимой.

Мой Петер, дорогой!

Это письмо нельзя посылать почтой, ты поймешь всё, поэтому я попросила отца что-то придумать, и он сказал, что попросит свою сотрудницу, которая едет в Москву работать в нашем посольстве. Чтобы она позвонила тебе домой, а телефон на обратной стороне конверта.

Надеюсь, она это сделала и теперь ты можешь

спокойно читать.

Дело в том, что я тайно побывала – не падай в обморок! – в Ватикане. Теперь ты понимаешь, что всё, что я опишу тебе дальше, нельзя было посылать обычным письмом. А как тогда? Помог папа, но главное, изменилась ситуация, а изменилась она так, что я оказалась в Милане. Наш оркестр поехал на маленькие гастролы в знаменитую Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, там мы исполняли концертную программу, в том числе Шопена, его 2-й концерт для фортепиано с оркестром – Piano Concerto no. 2, F minor. За роялем – я. О чудо, о страх!

Но я сейчас не об этом, хотя, да, можешь поздравить меня, всё прошло очень успешно.

У нас выдался свободный день, и я решила исполнить свою тайную мечту – поехать в Рим, в Ватикан, чтобы поглазеть на него, на собор Святого Петра (мой Петер, ведь это мы с тобой, мы Петеры, поэтому и для тебя это тоже!), но самое главное – чтобы попытаться увидеть кардинала Берана! Ведь теперь он там, в Ватикане, ты помнишь, я тебе рассказывала. А в Прагу его так и не впускают пока, хотя папа говорил мне, что уже пытался поднять вопрос о возвращении Берану нашего гражданства, но Дубчек сказал – пока рано, не надо лишний раз злить Советы. Так-то так, но я узнала, что кардинал болен, и сколько ему еще жить, неизвестно, ведь почти 80 лет святому человеку!

Конечно, еще в Праге я ничего не сказала папе о моем плане, потом ничего не сказала руководителю

нашей делегации и главному дирижеру. Выпал свободный день в Милане, и я поехала в Рим, тайком, на поезде, а это оказалось почти шесть часов и денег немало. Но я поехала – какие там деньги, почти всё отдала за эти билеты туда-обратно, оттого и в Прагу ничего не привезла, никаких сувениров.

Теперь так. В Риме доехала почти до самой Пьяццо Сан-Пьетро, или площади Лоренцо Бернини, миновала колоннаду, полюбовалась на собор, но внутрь не пошла (времени нет, да и денег на входной билет тоже, а так жалко!), а пошла в обход, куда мне нужно было (план Ватикана я купила в поезде). Дело днем, жара. Сразу же – будочка, из нее выходит охранник, швейцарский гвардеец из папской охраны Ватикана. О, Петер, ты знаешь, что такое папский гвардеец? Сейчас расскажу.

Симпатичный мужчина моего возраста, высокий, стройный, брюнет, в белых перчатках – но форма! Лихо заломленный на правую сторону берет, широкий белый воротник, сама форма – оранжевая с продольными синими полосами, с широкими рукавами-буфф и таким же бриджами, подхваченными ниже коленей, поэтому нижняя часть как бы имитирует сапоги.

Он смотрит на меня вопросительно, я начинаю говорить по-английски (мой запас – десяток слов), а он мотает головой в своем смешном берете, явно не понимает меня. Выясняется, понимает по-немецки. Слава Богу! У меня ведь в гимназии, помимо русского, из иностранных был немецкий, вот я ему и говорю (а сама вынимаю и протягиваю паспорт), говорю, кто я

и как здесь, то есть что приехала всего на пару часов из Милана с гастролей и что вечером у меня обратный поезд, а мне очень нужно увидеть кардинала Йозефа Берана, ну хоть на несколько минут, передать привет от родной ему Чехии, из которой его изгнали коммунисты. Он, кажется, понял меня, даже улыбнулся и вдруг попросил открыть мою сумочку – дескать, что там? Глянул туда, кивнул, проговорил «sehr gut» и указал на какой-то подъезд в глубине впереди. Там, сказал, внутри всё повторите, а я, сказал и опять улыбнулся, стою тут, отойти не могу.

Я поблагодарила и пошла, куда он указал. Открыла тяжелую дверь, ступила в небольшой зал, и тут опять передо мной вырос гвардеец. Опять вынимаю паспорт, опять повторяю свою речь. Этот уже не улыбается. Я иссякла, он молчит. Потом просит показать, что в сумочке, потом кивает на кресла – присядьте! – а сам идет за стеклянную загородку к телефону. Говорит с кем-то о чем-то. Потом вынимает маленькую рацию (типа телефонной трубки) и опять что-то говорит, а что, я не слышу. Потом выходит ко мне. И докладывает без эмоций, по-немецки: «Монсеньор кардинал, его высокопреосвященство Беран скоро здесь проследует из своих покоев в Апостольский дворец. Ждите. У вас будет минута».

О, удача! Опять присела, жду. Так прошло полчаса, кажется (у меня, прости, аж спина вспотела от страха и предвкушения). Наконец – вижу: откуда-то сбоку появляется группа, четыре человека. Ну, двое – это те

же гвардейцы, а между ними – пожилые люди, один в алом одеянии (значит, вот он, кардинал!), другой в фиолетовом – значит, епископ.

Вот я и увидела моего Йозефа Берана, в первый и в последний раз, к сожалению. Сделала два шага вперед, а гвардейцы даже не дрогнули – несомненно, были предупреждены обо мне по рации. Кардинал – старый, чуть сторбленный, породистое лицо с большим носом, а цвет лица какой-то нездоровый. Зато глаза хоть печальные, но очень живые. Из-под шапочки – короткая седина... Я сразу опустилась на одно колено и потянулась к его руке для поцелуя. Он протянул руку. Потом я подняла к нему голову и заговорила по-чешски. Он сделал знак и сказал тоже по-чешски: «Поднимись, дочь моя. Мы следуем к его святейшеству Папе в его библиотеку во дворец. Можно было и через галерею, но хочется по воздуху. Следуй за нами, проводишь».

Мы пошли. Беран, слева от него кардинал, я справа, по бокам от нас гвардейцы. Это длилась минут пять, наверное. Он спросил – что у меня к нему. Ничего, ответила я, хочу только его благословенья. Он кивнул. Потом спросил: кто я и как здесь, в Риме? Я рассказала. Он опять кивнул. Проговорил: «Милан, Шопен, это прекрасно». Я сказала: если имею право говорить за всю Чехию, то она с ним, кардиналом Бераном, и ждет его к себе на родину. Он опять покивал и сказал: «Я слышан о переменах, однако не всё ясно и спокойно, я молю Господа Бога, чтобы Он упас мою страну, чтобы ее опять не постигла новая беда. А такое возможно, мы

знаем». И умолк. Я что-то сказала еще, не помню точно что... а, кажется, про священника из собора Святого Вита, моего крестного отца. Тогда он сбавил шаг: «Я не видел его, я уже многих не видел... Но всё, дочь моя, иди с Богом. Как имя твое?» – «Петра», – ответила я. Он вновь покивал: «Святое имя. С Богом!» Перекрестил меня и протянул руку для поцелуя.

Вот и всё, мой Петер. Я шла вдоль собора и, прости меня, тихо плакала. Я почти приблизилась к Богу, понимаешь? Я сделала, может быть, главное в жизни.

Ладно, заканчиваю. А, вот еще такая деталь! Это я вычитала в буклете о Ватикане, про швейцарских гвардейцев. Представляешь, во время войны, при Муссолини, когда в 43-м немцы вошли в Рим, ни один немецкий солдат так и не ступил на территорию Ватикана! А дело в том, что командир гвардейцев пригрозил, что если те попытаются, то гвардия вступит в бой. И немцы так и не сунулись в Ватикан. Смелость и преданность, И тогда Бог упасет, вот так!

Согласитесь, преинтересное письмо получил я почти по дипломатической почте. Отчаянной женщиной была моя Петра, это точно. Как она написала? Смелость и преданность, вот так.

В закрытой стране информация выдается дозировано, то есть только то и только так, как это угодно режиму. Поэтому народ почти ничего не знает. Что до меня, то я знал чуть больше, поскольку, во-первых, постоянно слушал рассказы

отца о том, что ему известно через МИД, а во-вторых, получал сведения от Петры, хотя тут были одни эмоции, связанные с бурлением среди пражской молодежи и интеллигенции, надеждами на новые реформы и на «социализм с человеческим лицом» (этот фразеологизм впервые употребил именно Дубчек, хотя мой отец, человек политически образованный, предполагал, что Дубчек «слямзил» его у американского политолога Хедли – по названию его книги «Власть с человеческим лицом»).

Если по сути, это была схватка. На ковре – два борца разных весовых категорий. Тот, кто полегче весом, стал придумывать новые хитрые приемчики, а «тяжелый», поначалу недоумевая, постоянно вязал ему руки и выжидал. Но и предупреждал своим грозным видом: если не прекратишь, обоюсь и сразу припечатаю к коврику. «Легкий» понимал силу противника, но верил, что хитрость все-таки удастся и уж хотя бы ничьей он добьется.

Так и длилось до середины августа.

А в начале августа «тяжелый» сделал последнее предупреждение. Сначала в городе над речкой Тисой, вслед за тем в Братиславе.

Чиерна-над-Тисой – маленький город в восточной Словакии, на границе с нашей Украиной. Туда и съехались противники (а вообще-то, так сказать, друзья по соцлагерю). Переговоры между нашими (во главе с самим Брежневым) и Дубчком со товарищи. Отец рассказывал, что атмосфера была

напряженной, наши стремились связать Дубчека по рукам и ногам. Демократизация – это, конечно, неплохо, но должны быть четкие рамки, а именно: сохранение руководящей роли компартии, разумная цензура, разумное ограничение свобод граждан, выездов из страны, деятельности других партий и прочее-прочее.

И, как ни странно, эти мучительные переговоры, как считал отец и считали в МИДе, закончились удовлетворительным для Москвы результатом. Дубчек пообещал. Или опять схитрил? Но мы в Москве вздохнули. И в Праге тоже.

Уже через два дня – новая встреча, в Братиславе, сразу глав шести братских партий, союзников по Варшавскому договору. Это уже серьезней. Но опять вроде договорились. Отец утверждал, что это успех и «теперь чехов не хапнут».

Хапнули уже через две недели. «Тяжелому» надоело, что его обманывают, он всерьез обозлился и пустил в ход весь свой арсенал. Исход был предрешен. С середины августа стали готовить вторжение силами Варшавского договора, хотя в основном это был советский десант и танковые полки. Генштаб в Москве и штаб Объединенных сил в Варшаве отработали операцию на отлично.

Последнего (про решение Москвы начать подготовку к вторжению) мы, естественно, не знали. Мы узнали результат. Утром 22 августа – из газет, радио и телевидения.

А за пару недель до того было еще спокойно. Так мне ска-

зала Петра, позвонив из Праги. Сказала, что готовит новую программу, осенью гастроли, поэтому сейчас не до отпуска, и вообще уезжать из Праги как-то даже не хочется. И не надо. И ты, мой Петер, спросила?

Я не сказал ей всего. Того именно, чего не знал никто из моих близких. Объясняю.

В мои «Известия» тоже шла информация из-за рубежа от наших спецкоров. Но даже в том, что потом не проходило в печать, еще не сквозила тревога. Зато она сквозила в разговорах моих приятелей-журналистов. Вскоре я узнал, что не в Чехословакии, а здесь, в Москве, есть некая группа, некий кружок, где... В общем, это были диссиденты, хотя данное слово тогда никто не употреблял. Меня свели с ними, причем активной стороной был я. В те дни меня не столько волновали нарушения прав человека в СССР, сколько волновала ситуация в Праге и вокруг нее. А если уж совсем честно, я боялся за Петру, идеалистку, смелую и отчаянную. Я не сомневался, что если что-то там случится, она ввяжется, пойдет до конца. В общем, революционерка, авантюристка.

Да, вот такая Петра. Это понятно, но теперь два слова о себе в те дни.

Я бывал там, в квартире, где собирались те самые протестанты, как мне показалось удачным называть их. Вот они-то предчувствовали катастрофу, в отличие от моего отца и меня с Петрой. Именно катастрофу. Реально предчувствовали. И оказались правы. Потом они вышли на Красную пло-

щадь и выразили свой протест. «Чехи, братья, мы с вами!» «Вон из ЧССР!». Это случилось 25го августа, через четыре дня после ввода войск. Вышедших на Красную площадь было семеро. Имена известны. Их тут же схватили, арестовали, потом судили. Кого-то не судили, а признали невменяемыми и отправили в спецбольницы. Кто-то погиб или умер, кто-то выжил и много после был выпущен. Но все пострадали. Я должен был оказаться среди них. Меня упас Бог. Или, напротив, не упас, а не дал мне совершить поступок. Чтобы быть похожим на Петру. Потом станет ясно почему.

Я не оказался в Москве. За неделю до события я оказался в Эстонии, на озере Пюхаярве. Отпуск – в отличие от Петры! Родители уговорили меня поехать отдохнуть, отвлечься от мрачных мыслей. Отец всё повторял свое «теперь их не схвапают». И я, идиот, успокоился, внял советам. Ну две недели – авось ничего не случится.

Случилось. Утром 22го августа я подошел к газетному киоску на площади возле кирхи в городке Отепя, купил московскую газету и на первой же странице увидел сообщение. Большими буквами. И всё.

Если помните, раньше я вскользь упомянул, что, еще учась на журфаке, начал пописывать, но в стол, в стол. Так вот, про это «и всё» я потом написал рассказ (кстати, много после опубликованный, но это отдельная история, и о ней тоже после). А тогда... Тогда я, как говорится, бросился в Москву, потому что позвонить в Прагу из тихого эстонского

Оттепя оказалось невозможно: на почте у меня просто отказались принять заказ на такой международный разговор. Я понял, что отрезан от мира. От Петры, от Праги. А там по мостовым грохотали танки.

## 4

Всё, что в те дни происходило на улицах Праги, теперь хорошо известно. Написаны книги, запечатлено на пленках. Можно читать, смотреть – и в документальном виде, и в художественном. Да, смотреть можно, а вот если участвовать? Участвовала Петра, а я даже смотреть те фильмы не могу – сердце сводит. Один раз увидел по телевизору, и мне хватило на всю последовавшую жизнь. А вот каково же было Петре пройти и пережить это?

Ответ: она не смогла пережить этого – и так до сих пор. А после тех событий стала молчушкой – и вообще, и в частности. В частности – это так: не заводила речь о Праге августа 68-го, что я понял довольно скоро и сам не задавал ей вопросов на эту тему. Мы ее как бы закрыли. Да нет, без как бы. Потому что Петра. Она заплатила слишком много за то, что стать такой. Какой? Ну из предыдущего вполне ясно. Могла бы ведь и дома отсидеться или, как я, уехать отдохнуть, взяв отпуск. Не отсиделась, не уехала.

В Москве я оказался только 25-го утром (была проблема с билетами, ведь самое отпускное время!). Приехал с вокза-

ла домой, никого нет, родители на работе. Позвонил маме в клинику, сообщил, что вернулся – да, преждевременно, так вышло, объяснил, надоело там, в Отепя. Потом набрал номер отца. Его секретарша узнала меня по голосу, сразу соединила. Я опять повторил свою легенду про надоело и тут же спросил:

– Как дела – у вас с мамой и вообще? (Слово «вообще» я произнес особым тоном.)

Отец понял:

– У нас всё хорошо, Алеша. И дома, и вообще.

– Значит, хорошо?

– Да-да, не беспокойся, всё е хорошо, нормально, – повторил он как-то даже подчеркнуто весело, из чего я сделал вывод, что это игра: телефоны МИДа могли прослушивать, а может быть, этим сейчас занимается секретарша, кто знает.

– Так ты что, сын? Что-то еще, а то, извини, у меня люди в кабинете.

А, вот еще в чем дело! Но я все-таки сказал:

– Что еще? Да нет, в общем-то. Хочу позвонить, э, моей ненаглядной невесте, узнать, как она?

Отец опять понял.

– Давай это сделаем вечером, вместе, я тоже хочу ей привет передать, самолично. Дождись меня, обязательно дождись, договорились?..

Я тоже что-то понял, но, оказалось, не до конца, потому что дальше вышло так.

Распроставшись с отцом, не смог утерпеть до вечера, набрал «07» и заказал разговор с Прагой. Ну, думал, скорее всего Петра или на улицах, или в своей филармонии, пан Густав в своем ЦК, если его еще не арестовали, но хоть пани Власта должна быть дома, она нигде не работает, живет за широкой спиной обеспеченного мужа. Хотя она что-то расскажет – главное, где Петра, как она... Телефонная девушка, приняв заказ, проговорила обычное: «Ждите. В течение часа». Прошел час, затем еще один. Я позвонил опять. Уже другая девушка посоветовала набраться терпения – ждите, дадут.

Не дали. И не дадут, наконец дошло до меня еще через несколько часов. Мне ничего не объясняли, говорили трафаретное «ждите», и всё. В общем, я понял: для простого смертного связи с Прагой сейчас нет. Молодцы, всё предусмотрели!

Я позвонил своему приятелю, и он заговорил горячо, не беспокоясь о прослушке: «Старик, ты с Луны свалился? Еще позавчера все ежедневные чешские газеты исчезли из киосков – ну, там, «Руде право» и прочие».

Я поехал в «Известия». Там, в моем отделе культуры, удивились: «Ты же в отпуске!» Потом мы долго трепались, откровенно, потому что с сотрудниками у меня сложились нормальные доверительные отношения, это были свои ребята. И эти «свои ребята» поведали мне интересное.

Еще с 21-го числа с Прагой обычной телефонной свя-

зи нет. Но отсюда, из редакции газеты, нашим спецкорам можно позвонить из секретариата главного, причем не через обычное «07», а по международному коду, то есть напрямую (о таких кодах я тогда услышал впервые), однако это могут делать лишь завыв отделов, а наш зав в эти дни на даче, что-то там пашет, в смысле – пишет. Но и это еще не всё. Наши тамошние корреспонденты, как и прочие журналисты из СССР, по наказу из Москвы сидят в нашем советском посольстве, не выходя в город, потому что там волнения, люди чуть ли не бросаются под танки и антисоветские настроения доходят до крайней степени. Так что и звонить в наши корпункты бессмысленно. Ну не в посольство же звонить! Кому? И там такая прослушка!

Мы посудили-порядили. Что творится в Праге, кроме вышесказанного, почти не известно. Надо подождать несколько дней – прояснится. А единственный источник информации – слушать вражьи голоса, хотя глушат их страшно, прямо с 21-го...

Я уехал домой, ждать отца. Может быть, он знает больше. Да, он кое-что знал. Дубчек и его ближайшие соратники арестованы утром 21-го и вскоре самолетом доставлены в Москву на какие-то «переговоры». Пока это всё, что отцу известно. А ситуация в Праге? В Праге танки, толпы на улицах и площадях, волнения, сказал отец, больше не знаю. Что дальше? Дубчеку будут выкручивать руки, чтобы он подписал какое-то заявление, оправдал ввод войск, потом это

опубликуют, но сие уже и неважно, потому что «Пражской весне» конец и Дубчеку со товарищи конец – не в смысле, что их убьют, их просто отстранят, куда-то отправят, вышлют... в общем, с ними – всё. Кстати, напомнил отец, и пану Густаву, отцу Петры, члену ЦК, стороннику Дубчека, тоже несдобровать, ты уж, сынок, к этому приготовься...

Забегая далеко вперед, расскажу, что потом стало известно в подробностях.

На рассвете 21-го августа наши десантники окружили здание ЦК в Праге, заблокировали окна и внутренние двери кабинета Дубчека, отключили связь. В кабинете – несколько человек. Вошедший полковник КГБ сказал, что всех берет под свою охрану. Продержав несколько часов, арестованных отвезли в аэропорт. Потом насильно втолкнули в самолет, который взял курс на Москву. Потом Дубчека и остальных доставили в Кремль. Начались «переговоры» с высшим руководством СССР.

А 26-го августа в Кремль тем же путем доставили и других чешских реформаторов, пребывавших под арестом в Праге. Среди них – и отца Петры, Все они, вместе с Дубчеком, должны были подписать покаянный «протокол». После долгой торговли, споров и угроз – подписали. Еще через несколько дней их вернули домой и – пока (о, чудо!) – на прежние посты.

Но я шибко забежал вперед. А 30-го августа меня, ничего этого не знавшего, наконец-то (еще раз – о, чудо!) соединили

с Прагой.

Был поздний вечер. Трубку сняла пани Власта, узнала меня, но на вопросы, где Петра и как вообще, молчала. Ну да, она же по-русски ни бум-бум, вспомнил я. Потом услышал: «Пан Густав... э, нини́, хнед!». Кажется, это означало: «Пан Густав, сейчас!» То есть что к телефону подойдет ее муж. И действительно.

Дурацкий и страшный получился разговор. Пан Густав был явно не в своей тарелке, говорил тихо, односложно, нехотя. Вот что удалось узнать.

Первое – про Петру. Ее нет дома, она в больнице. Да, бытовая травма, перелом руки, сотрясение мозга, но легкое. Перелом тоже вроде не страшный, рука в гипсе, скоро выпишут, на днях. Когда точно, когда позвонить? – спросил я. Ну, на днях. Она сама позвонит, он, пан Густав, ей скажет, что Алексей звонил, она сама позвонит, сама.

Второе – про, так сказать, вообще. (Ясно, мы оба понимали, что разговор скорее всего прослушивается.) Он, пан Густав, дома, пока не работает... ну такой временный отпуск. А вообще... вообще всё нормально, всё будет хорошо, конечно. Главное, чтобы у дочери скорее зажила рука, рука-то правая, и чтобы пальцы хорошо слушались – у нее же выпячивания в сентябре...

Вот и тема пальцев возникла. Она, эта тема, окажется существенной.

Не странно, я сразу догадался, что эта травма отнюдь не

бытовая, как сказал пан Густав. Сотрясение мозга, перелом. Перелом – где конкретно? В какой части руки, что с пальцами? Если будут последствия, то как Петра будет играть на рояле и писать письма – рука-то правая! Но самое главное, конечно, вот что: для пианистки возможна проблема?

И мне сразу вспомнился знаменитый пианист Лю-Ши-Кунь с его пальцами, раздробленными хунвейбинами во время «культурной революции». Дьявольская аналогия!

Она позвонила еще через два дня, 1-го сентября, это я хорошо запомнил. Голос какой-то будто смятый, тихий, с постоянными паузами. Я попросил: расскажи, что можешь, как ты вообще, что рука, где перелом? И после паузы услышал:

– А, да, перелом... Я тебя очень люблю, мой Петер... Перелом? Предплечье, почти у запястья, у сустава. То е перелом локтевой кости, мне сказали в больнице, какого-то шиловидного отростка... Два пальца почти двигать нени можнэ, то е нельзя. Э, не могу. Мизинец и с ним рядом еще. А, ну да, безымянный, да, спасибо... Но доктора говорят, всё будет хорошо, пальцы будут, будут... А когда? Мне играть надо скоро, очень играть, концерт! Теперь нени можнэ, в сентябре. А в ржиен? (Это значит в октябре)... А, ржиен, всё к дьяволу! Играть не хбчу. Ничего не хбчу. Только видеть тебя. Ты как, Петер мой? Как видеть тебя, целовать тебя? А, никак нельзя, да...

Потом она замолчала, и говорил только я. Как люблю ее,

какая она прекрасная, как всё у нас будет хорошо и что мы обязательно скоро встретимся. Я говорил полную чепуху. Не про «люблю», а про «скоро встретимся». Я понимал, что это никак невозможно, и Петра это понимала. Мне показалось, что она тихо плачет. А деньги, ее кроны, тикали, как на счетчике такси – ведь международный телефонный разговор! А я всё говорил, говорил, но вскоре иссяк и только слушал тихий плач...

Потом, уже той ночью, я подумал: вот как человек может получить инфаркт. Когда слышишь любимого человека, слышишь его плач, его боль, а ничем помочь не можешь, даже быть рядом не можешь. Виза, деньги. Да хрен с ними, деньгами, а вот виза – это никак!

Хотя и деньги, теперь и деньги, да, Теперь пана Густава, несомненно, попрут из ЦК (это в лучшем случае), и значит, зарплата не та, и служебной машины не будет, и пани Власте придется выйти на работу, а не заниматься лишь домом и расхаживать днем по рынкам и магазинам. А Петра? Если она не сможет играть на рояле, то что – профнепригодность? Вот тебе и финал «Пражской весны» для отдельно взятого семейства!

Но это у них, а я в Москве. В Москве я даже инфаркта не схлопотал, и это мне странно. Ведь такая сердечная боль.

И вспомнилось мне про инфаркт. Мама рассказывала. Мама ведь врач, и когда-то, еще в студенческие годы, она слышала на лекции одну драматическую историю про то, как

злодеи физиологи моделировали инфаркты.

Две большие клетки рядышком, между которыми перегородка из толстых прутьев, сквозь которую всё видно. В каждой клетке – по самцу шимпанзе, но в клетку к одному из самцов впускают самку, которая подруга (по-нашему, жена) другого. То есть не к своему самцу, а к чужому. И чужой самец на глазах «мужа» начинает половой акт с его самкой. «Муж» дико кричит, носится по своей клетке, пытается рвать прутья, а чужак продолжает свое дело. Финал истории: самец-муж получает инфаркт (то ли в ходе первого «просмотра», то ли последующих). Это зафиксировано на электрокардиограммах, которые снимали после каждого эксперимента.

А у меня такого не случилось. Я не шимпанзе, и насилия над моей подругой (вообще-то женой) не видел. И даже не столь важно, что за вид насилия это был. Всё равно насилие. Я только мог представить, как это было. И потом слышал ее плач. Нет, для инфаркта этого оказалось недостаточно. Надо было видеть – так эффект посильнее.

Видела Петра. А я увидел много после, по телевизору. Не Петру конкретно, а людей, кидавшихся на танки, бэтээры, на советских солдат. Видел раненых, травмированных, видел их лица, ненависть, ужас в глазах. Видел однажды и зарекся – всё, больше никогда! А то ведь и вправду сердце не выдержит.

Прошло время, Петра никогда не рассказывала мне о тех

днях, ни в письмах, ни по телефону. Она тоже зареклась. Я это быстро понял и даже не пытался расспрашивать. Тема закрыта навсегда. Лишь много позже я узнал одну подробность: Петра с друзьями бросала «коктейли Молотова» в советские танки, и в какой-то момент, когда один из танков развернулся и медленно двинулся на толпу, Петра побежала, попала в давку, опять побежала, споткнулась о кого-то и, упав на брусчатку, сильно ударилась, а к тому же по ней, лежавшей, еще пронеслись несколько человек. Кто-то ее поднял, оттащил в сторону, к домам. Потом вызвали «скорую», потом больница. Диагноз: сотрясение мозга, перелом правого предплечья. Пан Густав узнал об этом лишь через несколько дней, когда его вернули в Прагу после ареста и срочной «командировки» спецрейсом в Москву.

Там же, в Москве, и тогда же, в августе, сделали оргвыводы, исполнение которых последовало уже в следующем, 69-м, в апреле: первым секретарем КПЧ был избран промосковский Густав Гусак, а Дубчек отстранен и вскоре отправлен в почетную ссылку – послом в Турцию.

А что тезка нынешнего лидера Чехословакии, пан Густав Новак? Его тоже попросили из ЦК и направили в город Теплице, на его родину, в тамошний районный комитет партии. Финита ля комедия.

Первая глава 1-й части, если еще помните, начиналась с того момента, когда мы с Петрой обмениваемся телефонными звонками, чтобы поздравить друг друга – сначала я ее с Рождеством (в ночь на 25 декабря), потом она, в новогоднюю ночь.

Повторим. В ту новогоднюю ночь я ждал ее звонка с понятной тревогой. Это была ночь с 68-го на 69-й. Слишком свежи события августа, да и в доме Петры не всё ладно, а точнее, неизвестно, что дальше. И по телефону всего не скажешь. И в письмах тоже.

Конечно, мы знали: что-то изменится. А пока семья оставалась в Праге. Но знали: что-то изменится. И верно, изменилось. Весной они переехали в Теплице, город на северо-западе Чехии, в Судетской области Устецкого края. Когда-то там родился пан Густав. Вот туда, на родину, его и отправили, а жена и дочь переехали вслед за ним. Там и осели, и надолго, аж на двадцать лет, до нового чешского катаклизма – «Бархатной революции» 89-го года, когда коммунистов попросили вон, Дубчек вернулся во власть, став председателем Федерального собрания Чехословакии, а пан Густав – депутатом этого Собрания. Естественно, семья возвратилась в Прагу.

Но это я опять забежал вперед аж на целых двадцать лет,

в течение которых многое было. Нет, речь, слава богу, уже не о политических событиях, а о нас с Петрой. О Петре в первую очередь.

А тогда, в новогоднюю ночь с 68-го на 69-й, едва поздравив меня, она продолжила печально:

– Петер, он умирает.

Я понял, о ком речь. Ее идол, ее Бог. Кардинал Беран, лишенный чешского гражданства «узник совести», с 65-го года живущий в Риме, точнее, в Ватикане. Старый человек, за восемьдесят, больной. Теперь он умирает... Сразу вспомнилась та почти невероятная история, как Петра тайком встретила с ним в Ватикане возле Апостольского папского дворца. Отчаянная женщина!

Отчаянная женщина изменилась. Стала молчаливой, замкнутой. Это после событий «Пражской весны», после крушения надежд, после того, что творилось на площадях Праги, после ее, Петры, «коктейлей Молотова» по советским танкам, после давки в отступавшей, бегущей толпе, падения, перелома, плохо слушающихся пальцев. Да, пальцы. Если они не выправятся, не станут двигаться, как надо, не восстановят гибкости и силы, то карьере концертирующей пианистки – всё, конец. Синдром Лю-Ши-Куня, как я это назвал. В том смысле, что опять заваруха, насилие и опять пальцы пианиста. Тогда – знаменитого китайца в мясорубке «культурной революции», теперь – только готовящейся стать знаменитой чешской пианистки, безоружной, против танков

в водовороте «Пражской весны».

Да, нельзя быть пианистом, когда в твоей стране «минуты роковые»...

Теперь Петра занимается тренингом. Разрабатывает пальцы – мизинец и безымянный на правой руке. В свою филармонию не ходит (по-нашему, она на больничном), просиживает дома за кабинетным роялем, мучается, терпит, играет сквозь слезы, разрабатывает. Еще она ходит на массаж, на занятия по восстановлению объема движений и на физиотерапию. Это ей отец устроил в его цековской клинике (пока он еще член ЦК). Откуда мне всё известно? Ну понятно, из писем Петры. Мы же по-прежнему переписывается, хотя и реже. Нет, не потому, что любим меньше, а потому что... Если одним словом – депрессия. Ну у Петры, не у меня же.

Оркестр без нее, концерты Петры Новаковой отменены, поездки тоже. Петра Новакова занимается тренингом. Надежда на продолжение прежней деятельности есть. Надо работать, работать. Пражская филармония ждет Петру Новакову, восходящую звезду, конёк которой – Шопен. Да-да, как это она сказала однажды: «Почему именно Шопен? А он и есть любовь, мой Петер, самая чистая. Серебряные трубы, поющие в облаках».

Серебряные трубы не поют в облаках: у Петры Новаковой депрессия.

Скажем точнее: у Петры Новаковой, еще полгода назад сильной и отчаянной, нешуточная депрессия.

Через три месяца, в начале апреля 69-го, от Петры пришло странноспокойное письмо. Почему я так его определяю? Потому что беспокоился, как она отреагирует на посланный ей рассказ, мой рассказ. Он напрямую касался прошедших трагических событий в Праге, хотя лично Петра или похожий на нее персонаж там не фигурировали.

Вот что она писала (пунктуацию сохраняю):

Мой Петер я вѐлми рада за тебя. То е хорошее чтение. Ты молодец. Ты писатель. Как ты смог то е увидеть из Москвы но не писать про всё как было в деле? Но чувство дать верно правильно будто был в Праге сам персонально и всё пережил сам. То е и есть писатель а не хроникалист. Ты меня разумеешь? Я плохо могу сказать о чувстве но чувство у меня большое о твоём рассказе. Ты должен писать еще. Не о Праге тогда а писать писать про всё – быть писатель.

Я разумею что этот рассказ не публикуют никак. В СССР и в Чехословакии никак. А на Западе? Как это пробовать? Ты можешь это пробовать? Я теперь тоже не могу. Ты разумеешь.

Но есть вопрос прости меня. Я к пани твоя пани из рассказа... как это? (о нашла в словаре!) ревную. Прости. Та молодая Анята у тебя – так было реально или ты то е фантазию сделал? Значит сочинил. Если сочинил то е ладно хорошо а если та пани есть реально

то мне... как это?.. по-немецки так: es ist traurig<sup>1</sup>. Но я говорила я тебя люблю а любить то е прощать.

Пробуй Запад!

Мои пальцы никак. Играть могу но не быстро и звук плохой. Темп темп – а темп не идет! Черт возьми как ты часто говоришь! Массаж и физиопроцедуры не помогает. Писать можно двигать рукой можно и пальцами можно а играть быстро никак. Доктор сказал часть нерва защемили (так я правильно?) в суставе когда кость росла после перелома. Ничего уже не помогает. Значит я почти калека пианист. А то е не пианист. Пенсия! Я умру от то е. Ты разумеешь? Но я не умру пока ты. Я есть моя музыка и мой ты. Теперь наверно музыки нет теперь только ты. Ты не будь грустный хорошо мой Петер?

Я вэлми люблю тебя. На сhledанову Петер!

Конечно, спасибо за такую оценку моего рассказа, да разве теперь об этом? Пальцы, пальцы Петры – вот в чем дело, вот какая беда! Но при всем этом – да, на удивление спокойное, странно спокойное письмо. И по поводу событий в Праге из моего рассказа, и по поводу пальцев. Может быть, Петра как-то свыклась? Свыклась с потерей, причем, за исключением меня, с потерей всего – свободы, надежд, своей карьеры? Нет, не может такого быть.

А по поводу героини моего рассказа, упомянутой Анюты, то, отвечая Петре, я сказал ей правду: Аня – чистый мой

---

<sup>1</sup> Es ist traurig – Это печально (нем.).

вымысел, так нужно было, иначе не сложилась бы центральная коллизия, да дело уже не в этом. Дело в том, что неужто моя Петра не понимает, что, согрешив когда-то, я уразумел главное: моя любовь – это только когдаходишь в тело, чтобы проникнуть в душу, а для этого существует только Петра, поэтому если не проникать в душу, то лишь входить в женское тело у меня потребности нет. Значит, добавил, впредь не лазай в словарь за словом «ревновать».

А что до «пробуй Запад», как она написала, то к этому мы еще вернемся, потому что тот мой рассказ потянул за собой преинтересные события. Но Петрина, так сказать, рецензия (внутренняя, конечно) оказалась первой рецензией на мое творчество.

Ладно, это потом, а пока, мне показалось, депрессия у Петры все-таки поуменьшилась.

Увы! В том же апреле – печальные новости. Вот и сбылись предчувствия.

Об этих событиях, уже упомянутых выше, мы узнали из газет. В Праге состоялся пленум ЦК. Дубчека и его главных сподвижников сместили с постов, убрали напрочь. Что до пана Густав Новака, то его в тех газетных сообщениях не упоминали, ибо он был не из самых главных. О нем я узнал от Петры.

Как я уже сказал выше, его тоже убрали. Из компартии не исключили, но выкинули из ЦК и сослали в Теплице, в

тамошний райком партии. На родину. Он переехал, а в мае вслед за ним туда перебрались пани Власта и Петра. Квартиру в Праге пришлось оставить. Это уже не их квартира. Их квартира теперь в Теплице. И места работы там же.

То, что мне еще через месяц, уже из Теплице, написала Петра, привожу в своей редакции, поскольку письмо было написано то по-русски, то по-чешски, и мне даже пришлось поработать со словарем.

Мой Петер! Теперь мы тут и уже в своем доме. Бывший папин дом, где он жил до оккупации Судет немцами в 38-м году, показался нам старым, и мы сразу поселились в другом небольшом доме, первый этаж которого арендовал папа. Там у нас пять комнат: гостиная, кабинет папы, их спальня с мамой, моя комната и гостевая (она пустует, но на всякий случай пусть будет). В общем, хорошо, просторно, никто не мешает. В моей комнате – небольшой рояль, перевезенный из Праги, могу что-то наигрывать для себя и планирую набрать пару учеников, поскольку дополнительные деньги нужны.

Дом наш на тихой улице, почти рядом с костелом Святого Иоанна-крестителя (XII века, бывший монастырь бенедиктинок), иногда даже слышен орган, это очень приятно. И удобно, потому что близко.

Теперь про сам город. Он маленький после Праги, всего 50 тысяч жителей, а от Праги меньше 100 километров, но недалеко от границы с нелюбимой мной Германией (это после оккупации нас, Холокоста и

участия вместе с вашими в подавлении недавно). Почти у Крушных гор, поэтому вокруг красиво, очень зелено. Всей Чехии Теплице известен как курорт, тут горячие минеральные источники, лечат кости, позвоночник, суставы и прочее, так что мне это пригодится для моих несчастных пальцев и лучезапястного сустава. Еще ратуша, конечно, и известный Ботанический сад.

Теперь о музыке. Тут консерватория, филармония, ежегодно – Бетховенский фестиваль. Это потому, что Бетховен тут бывал и даже однажды встретился с Гёте (а вот к культуре Германии я отношусь очень хорошо, она великая, конечно).

Выходит, мне повезло, что помимо филармонии, где дают всякие концерты, есть консерватория, в которой ведется преподавание, в том числе по классу фортепиано. Это я к тому, что вот мне и работа. Играть на концертном уровне я уже не могу (с этим всё!), остается заниматься педагогикой.

И я уже начала заниматься, преподавать. Меня сразу приняли, потому что я представила им диплом об окончании Московской консерватории у Льва Оборина, дипломы за победы в конкурсах в Праге и Братиславе, а еще рекомендательное письмо от директора Пражской филармонии и еще одно – от нашего главного дирижера пана Вацлава Талиха. Спасибо им за эти рекомендации, мы чуть не плакали, когда расставались.

Так что теперь я зовусь «пани маэстро Новакова», имею свой класс и учеников. Вживаюсь в эту роль, неожиданную для меня. Вспоминаю терпеливость и

мудрость Оборина, но куда мне до великого! И вообще вспоминаю обучение в Москве, теперь я в шкуре маэстро, а мои ученики – в бывшей моей шкуре студентки. Это забавно, но полезно.

Короче говоря, началась моя новая жизнь. Провинция, преподавание, а еще даю частные уроки. Надо привыкать, что ж поделаешь. Надо жить, да? Такое у нас время – терпеть, привыкать.

Папа тоже привыкает. Ему тяжелей, чем мне, конечно. Хотя мы оба пострадали, но он больше. Он вдруг постарел, даже похудел, заметно поседел. Бедный папа.

Мама пока не работает, но скоро начнет – в Теплицкой галерее «Bohemia Art», каким-то искусствоведом.

Петер, я очень люблю тебя и мечтаю, чтобы ты приехал. От Праги всего два часа автобусом по хорошему автобану. Как это мне и тебе сделать? Приглашение? Спроси у твоего отца и напиши мне.

Я храню твои письма и перечитываю их. И опять очень хочу быть с тобой ночами. Может, я выздоравливаю? С Богом.

И тебя храни Бог.

## 6

Тогда же, в мае 69-го, получив это письма, я сразу сел писать ответ. Был поздний вечер, и тут услышал телефонный

звонок в коридоре. Следом крикнула мама: «Алёша, быстро, межгород, кажется, Петра!»

Я поспешил в коридор. Успел подумать: опять что-то случилось, ведь сейчас не новогодняя ночь, когда она мне обычно звонит!

– Петер, это я, – раздался спокойный голос. И затем так же спокойно: – Петер, он умер.

Я опять понял, о ком речь, кого не стало.

– Когда? – спросил зачем-то (какая разница когда – вчера, позавчера?).

– Вчера, – будто специально для меня уточнила Петра.

– Там?

– Там. В Риме.

– А где... ну, хоронить?

– Э, не знаю, решают... э, переговоры.

Мы замолчали. Хотелось что-то сказать, но что? Успокоить, приглушить боль, а как? Никак. И чертовы деньги, чертовы кроны, которым всё равно, молчишь ты или говоришь что-то, бесплотнo общаясь с любимым человеком, который за границей.

– Чертовы деньги! – сказал я.

– Чертовы, – тихо отозвалась Петра. И уже громче: – Петер, приезжай ко мне. Вэлми надо видеть тебя. Пробуй, да. Хорошо?

– Хорошо. Я... я очень... – И замолк.

– Я знаю. Я такэ.

– Такэ – это «тоже»?

– А, да, да. На схледанову, Петер.

– Да... да...

В трубке возник чужой голос телефонной барышни: «Поговорили, закончили?» Я не ответил и положил трубку: в ней жила уже не Петра.

Вот и всё, кардинал Беран, подумал. Ты свое отдал, в том числе и Петре. Что теперь, где схоронят?

Потом я узнал от Петры. А она узнала из австрийских радиопередач, которые хорошо прослушивались в Теплице (как до того узнала и о смерти святого изгнанника). Власти Чехословакии запретили перевоз тела кардинала из Рима на родину для прощания и захоронения – как в Праге, в соборе Святого Вита, так и в Пльзене, месте рождения Берана. После безрезультатных переговоров по решению Папы Павла VI кардинала погребли в храме Святого Петра в Ватикане, где традиционно и почти исключительно хоронят глав Римско-католической церкви. Чтобы не отставать от Ватикана по части воздания должного почившему, в центральной прессе Чехословакии вышло несколько статей, порочащих Йозефа Берана. Нет ничего святого! А впрочем, без комментариев.

Комментарием к прошлому может быть только будущее, знать о котором нам не дано<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> В конце 2008 года Пражский архиепископ Милослав Влк благословил открытый в Праге памятник Йозефу Берану, заявив при этом, что кардинал Беран является выдающимся деятелем чешской истории и настоящим символом сопротивления коммунистическому тоталитарному режиму. (*Прим. авт.*)

Вот такое время нам выпало.

А ты хочешь в другое? Как сказал поэт: «А при Грозном жить не хочешь?» Тоже без комментариев. Поэтому будем жить в своем времени и что-то пытаться.

Я пытался попасть к Петре. Это тогда стало главным.

Отец сказал – даже не пытайся. Ну пришлет она приглашение, а потом? Ну в ОБИР. Там спросят: кто вам эта Петра Новакова? Пойми: фактор приглашения от частного лица у нас теперь не имеет значения. Только к родственникам. Либо поездка по турпутевке или в составе тургруппы. А поскольку ты один и теперь не имеешь ходатая – члена ЦК Чехословакии, как было в прошлый раз, то... Еще: характеристика с места работы. Ну получишь, но всё равно не выйдет. К тому же есть еще одно немаловажное обстоятельство: ты указываешь, что намерен ехать в город Теплице к Петре Новаковой, от которой приглашение. А ее отец товарищ Густав Новак – под колпаком чешского КГБ. Понял?..

Но я упрямый, я попытался. После получения приглашения от Петры (естественно, заверенного по всем правилам) попросил в «Известиях» дать мне характеристику для кратковременного выезда за границу, в социалистическую Чехословакию. Конечно, дали, причем за подписью, в числе прочих, секретаря партбюро, хотя к родной партии я не имел отношения. Присовокупив положенные документы, подал про-

шение в районный ОВИР. Через два месяца выяснил, что получил отказ. Без объяснения причины. Пошел на прием к тамошнему начальнику, и он повторил фактически то, что мне говорил отец. Могу ли жаловаться или обращаться в более высокую инстанцию? Можете – начальнику городского ОВИРа. Есть ли шанс? Если честно, нет, сочувственно улыбнулись мне.

Отец только развел руками. Дескать, не трать время, а главное, нервы. Надо сделать так: достать турпутевку на поездку, скажем, в Карловы Вары, в санаторий, а мама предварительно напишет тебе справку, что у тебя, например, хронический гастрит и тебе показано санаторно-курортное лечение. А уж там, на месте, разберешься, как встретиться с Петрой, Чехословакия не Советский Союз – сел на автобус, и через час-два где надо.

А что – идея! Так я и написал Петре, поведав об общении с ОВИРОм и о возникшей идее...

Был уже август, свободных путевок в Карловы Вары на сей год, как мы с отцом выяснили, уже не было. Пробуйте заказать на следующий, посоветовали.

Я и об этом сообщил Петре в новом письме. Потерпим еще, написал. Не написал только о том, что впал в самую настоящую тоску.

Она свалилась на меня как-то вдруг. До того была злость – а на что? На судьбу, на эту страну, на время, выпавшее нам, или на себя, не могущего решить свою личную пробле-

му, несмотря на страну и время? Неважно (или все-таки важно?). Была злость. Она бушевала во мне с неделю – и вдруг схлынула, а ее место заняла тоска. Почти депрессия. Ну вот, подумал, Петра вроде преодолела свою депрессию – теперь я в обнимку с ней. Два сапога пара. Но с различием: Петрину депрессию можно понять (столько пережила за последнее время, никому не пожелаешь!), а я-то что?

Что я? Да ничего, если по большому счету. Ну работал, служа в своем отделе культуры «Известий», ну иногда пописывал (пару рассказов сочинил), но всё это вторично, второй план, как говорят киношники. Первым планом, и единственным, оставалась Петра, но ее-то со мной не было.

А она? Она, как я знал из писем, помаленьку втянулась в свое консерваторское преподавание и даже увлеклась этим. Ну да, она всегда была увлекающейся натурой, эмоциональной и, если бралась за любимое дело, то отдавала ему всю себя. Как раньше с учебой у Оборина, потом с концертной деятельностью в Пражской филармонии и с борьбой за свою несвободную страну. И как со мной, между прочим: если любовь, то до конца.

Счастливая у нас любовь, да вот беда – мы не вместе, между нами граница, а живем мы в странах, где реальная возможность счастья и благополучия отдельного человека (уж о любви говорить не будем) не записана в их генетическом коде. Код в этих странах один – тоталитаризм. Деспотическая,

якобинская власть, прикрывающаяся некоторыми социальными гарантиями.

Ладно, оставим это. Кроме одного: как все-таки нам любить?

В тот год, уже 70-й, с Карловыми Варами ничего не вышло: почему-то не было путевок в желудочно-кишечные санатории. А в Теплице – там тоже бальнеологический курорт? Нет, в Теплице не получится: там – для больных с проблемами опорно-двигательного аппарата, а у вас, ответили мне, судя по медсправке, проблема с желудком. Извините.

Черт знает, может быть, тогда простым советским людям просто-напросто ограничивали поездки в Чехословакию?

А вот в следующем году вышла целая история, и о ней подробнее.

## 7.

«Пробуй Запад!» – эта фраза Петры, касающаяся того, чтобы как-то опубликовать мой рассказ за границей, оказалась почти реальной. Совершенно неожиданно. Я уж о том не думал, даже не мечтал. И вот – как снег на голову. Что, вырваться из-под нашей цензуры? Это возможно!..

Шло лето 71-го, в конце июля в Москве должен был состояться VII Международный кинофестиваль. Меня вызвал шеф и сказал, чтобы я аккредитовался на этом фестивале, а

затем поставлял в газету материал для ежедневной колонки, и так в течение десяти дней. В общем-то, это честь для меня.

Благодаря активному присутствию на фестивале, я увидел многое и многих. Отличные фильмы, интересные люди, в том числе всемирно знаменитые. Есть что и на кого посмотреть. Зря времени не терял, уставал только, поскольку днем – просмотры, общение, интервьюирование, а ночами – писание очередной статьи для колонки в «Известиях».

Сам фестиваль помимо прочего запомнился и тем, что Золотой приз на нем получил фильм японца Канэто Синдо с неприличным для социализма названием «Обнаженные девятнадцатилетние» (у нас на закрытых просмотрах он потом шел под названием «Сегодня жить, завтра умереть»).

Так вот, буквально в первый день, знакомясь с иностранными журналистами, я обменялся рукопожатием и с коллегой из «Руде право». Сердце ёкнуло: родная Прага! Его звали Карел Черны, крепкий, спортивного вида мужчина около тридцати (то есть лет на пять старше меня), и кто мог знать, что он запомнится мне на всю жизнь.

Как-то мы приглянулись друг другу и быстро сошлись. По-русски он говорил куда лучше моей Петры, то есть совсем правильно, лишь с легким акцентом, но главное, уже вскоре стало понятно, что отношение к действительности у нас одинаковое. Карел не раз вспоминал «Пражскую весну», говорил, что в дни марша танков по улицам и площадям Праги успел сделать кучу фотоснимков и как-нибудь найдет спо-

соб переправить мне кое-что. «Это фантастический кошмар, ты убедишься!» – эмоционально восклицал он.

Поэтому не странно, что мы подолгу болтали до и после просмотров, обменивались мнениями, а через пару дней оказались в ресторане, где посидели, хорошо выпив и закусив. Назавтра после этого Карел сделал ответный жест – пригласил в ресторан меня. И вот там, когда в очередной раз речь зашла о пражских событиях, я обмолвился, что у меня есть рассказ на эту тему. «О! – привычно воскликнул Карел. – И его опубликовали?» Услышав в ответ: «Нет. Ты что, не понимаешь, где мы живем?» – он закивал, пробурчал что-то (похоже, выругался по-чешски) и тут спокойно попросил дать ему почитать. «Не бойся, я – могила!»

Назавтра я передал ему машинописный экземпляр.

А еще через день случилось неожиданное. Карел начал так:

– Алексей, первое. Рассказ мне понравился. Больше скажу, не ожидал. Ты же не профи, только журналист, а тут – настоящий писатель. И тема подана – класс! Класс, потому что не глазами очевидца, но читатель всё видит и понимает. Короче, давай так. Ты отдаешь этот текст мне... ну я же сказал тебе, я – могила, тебя не подведу. Так, дальше: ты отдаешь рассказ мне, а я передам его одному моему приятелю, журналисту из Австрии. Почему Австрия? Потому что у нас в Чехии это не опубликуют, можно не пытаться. А Австрия – очень удачно. Во-первых, мы исторически дружим, все-таки

когда-то жили-были в единой империи, Австро-Венгрии, мы были ее часть – Богемия, Моравия. Во-вторых, тот мой знакомый работает в венском литературном журнале, пару раз в год приезжает в Прагу, мы видимся. Я ему дам. А вдруг напечатают? Ну как, ты мне дашь?

Я обалдел, выпил, стал думать. Придумал:

– Дам. Но при условии, если изменю фамилию автора на псевдоним.

– О'кей, меняй! Однако справка нужна.

Я опять обалдел: и там тоже справка, как и у нас? Карел засмеялся:

– Ты не понял! Справка на автора, пусть он под псевдонимом. Где автор живет, где публиковался, имеет ли литературные призы, то есть премии.

– Этот автор нигде не публиковался и премий не имеет.

– Понял, понял! – Он вновь растянул губы в улыбке. – Ладно, меняй фамилию на псевдоним. Давай, вперед!

– Даю. Отдай рукопись на минутку.

Карел полез в свой маленький портфельчик, который обычно носил на ремешке через плечо, извлек мой рассказ, а я тут же извлек ручку и тщательно замарал «Алексея Симонова». Потом, подумав, вывел чуть выше: «Пётр Новакин», потом на обратной стороне рукописи написал: «Автор живет в Советской России, литератор, журналист» – и протянул Карелу. Он прочитал то, что я написал, и убрал рукопись в портфель.

– О'кей! Дай твой телефон в «Известиях», я тебе позвоню из своей редакции из Праги. То есть за счет газеты, ха-ха! А теперь выпьем за удачу!

Мы выпили, и Карел спросил:

– А почему такой псевдоним, Алексей? Просто так?

– Нет, далеко не просто так. Есть у меня знакомая, она пражанка, хотя теперь живет в Теплице. Петра Новакова. Вот в честь ее. Ее имя и фамилия, но в мужском русифицированном варианте.

– И хорошо, пусть так... Э, Новакова, Новакова... В Чехии Новак и Новакова... так это до кучи.

– Да, знаю. Но эта – особенная Новакова. Она пианистка. Музейный экземпляр, раритет.

– погоди, стоп! – Он задумался. – Молодая, красивая... Из Пражской филармонии?

– Молодая, красивая, но теперь она в Теплицкой консерватории.

– О, так я ее видел! В Праге, на концерте в «Зале Дворжак»! Видел на сцене, но лично не знаком. О ней говорили, говорят. Известная дама – ну, в музыкальных кругах. Черт возьми, как тесен мир своих людей! – Карел был просто рад. – Нет, это прекрасно, что так! Петра Новакова, да... Я даже помню, что о ней говорили.

– И что же о ней говорили? – Мне стало интересно.

– Что? Что у нее мужской пианизм, а это редкость для женщин-исполнителей, для пианисток. И что так особо, ко-

гда она, эта Петра, играет Бетховена.

– Да? А я-то слышал, что любимый у нее – Шопен.

Карел пожал плечами:

– А, не знаю. Может, и Шопен, я говорю, что слышал. Что она – особенная, и у нее мужской пианизм, и это замечательно. Но то было несколько лет назад... Э, погоди, слушай, вот что еще! Ты сказал, она сейчас живет в Теплице. А совсем скоро там фестиваль Бетховена, это ежегодно, так я туда еду от газеты! Приеду, возьму у нее интервью! А? Вот идея, да? Отлично!

Я обалдел в очередной раз.

– Возьми интервью, передай от меня привет. – И тут спросил: – А письмо ей передать сможешь, только лично в руки?

– А как же! Запросто! Пиши письмо, пиши!.. Э, а как ты с ней познакомился, давно?

Я улыбнулся:

– Давно. Мы переписывались еще школьниками. Друг из Советского Союза. Потом виделись, когда я был в Праге. (Рассказывать более детально я не стал.) В общем, хорошая знакомая.

– Ну отлично! Так я ее увижу. А ты пиши письмо!..

Я написал той же ночью и на завтра отдал Карелу. А вскоре завершился кинофестиваль, и на прощанье мы поехали в известный в Москве пивной бар на ВДНХ. Посидели, выпили по паре кружек. Выходя из бара, Карел приобнял меня:

– Москва – красивый город, и ты, Алексей, прекрасный

парень, а пиво у вас – отвратительное. Если честно – дерьмо. Это чистая правда, даже не извиняюсь.

Недели через две Карел позвонил мне в редакцию. Вот его речь:

– Я только что вернулся из Теплице с фестиваля Бетховена. Ну, прекрасно было! Встретился с твоей знакомой, с Петрой Новаковой. Чудесная дама, только грустная как-то. Она очень удивилась, что у меня письмо от тебя, но взяла и повеселела. Я ей всё рассказал, как мы с тобой сошлись и прочее. Но главное, Алексей, туда же на фестиваль приехал мой друг из Австрии, да, тот самый, герр Курт Фогель, он ведь тоже журналист по искусству. Я ему всё сказал. Потом я ему читал твой текст вслух, переводя на немецкий, потому что он говорит только по-своему и на английском. А Петра мне помогала, она тоже знает немецкий, но хуже меня. Это было у нее дома, она нас с Куртом пригласила. Курт сказал про рассказ: хорошо, это очень хорошо. Сказал, он думает, всё получится, будет стараться, сказал, сообщит мне, как будет. Ты понял? О’кей! Если будет, я тебе тоже сообщу. Ты понял? И если всё о’кей, то будем соображать, как тебе это дать.

Я поблагодарил, и мы распрощались.

А дальше? Приходится признать, что чудеса бывают. Уже осенью, в сентябре, мне позвонил в «Известия» некий человек и с легким акцентом попросил встречи где-нибудь в цен-

тре или прямо у метро, а то он торопится. Мы встретились, он передал мне бумажный пакет и привет от товарища Карела Черны из Праги. Уже дома я вскрыл этот пакет. Там – два экземпляра журнала и лист с шапкой редакции вверху. Короткий текст на немецком: Петра Новакина уведомляют о публикации, благодарят и выражают надежду на новые публикации.

А о гонораре – ни слова. Вот жлобы, эти венские буржуи! Теперь сам журнал. Не толстый, уютный. Называется *Hefte für zeitgenössische Literatur*, что в переводе означает «Тетрадь (по-нашему – журнал) современной литературы». Там мой рассказ, однако на немецком. Название выглядит так: *Junge Alexander*. Красиво, правда? И насколько я мог убедиться, рассказ дан полностью, без купюр. А внизу первой страницы, мелким шрифтом, та самая справка: откуда сей Петр Новакин и кто он.

Но это не всё. Там, где начало рассказа, на развороте слева – большая фотография, во всю страницу. Совершенство ужаса. То есть ужас запечатлен в совершенном виде – и жанрово, и технически. Танки на какой-то улице Праги, едущие по трамвайному пути, что-то горит, дым, кругом люди, хаос, кто-то с чешским флагом в руке подбирается к танку, чтобы на ходу взобраться на него, раскрытый в крике перекошенный рот. Фотография черно-белая, и это ужесточает впечатление, потому что всё там даже не черно-белое, а разные оттенки серого, мрачного, грязного. Вот такая картина. Сбоку

меленькая строчка: Photo Karel Tscherny.

Вот так. Рассказ советского Петра Новакина (вообще-то Алексея Симонова), фотография чеха Карела Черны, а журнал австрийский. Интернационал!

И что мне с этим изданием на немецком делать? Разве что Петре переслать в Теплице.

А советскую цензуру мы все-таки объегорили!

Удивительно или нет, но еще через годы случатся новые преинтересные истории, связанные с этим моим рассказом. Прямо судьбоносным он оказался, не иначе.

# Часть третья

*Что отвечать на крайние вопросы? Лучшие любить.*

*Еще есть силы, и рассвет не настал. Наша ночь.*

## 1

Президент США Авраам Линкольн однажды сказал: «В конце концов, важны не годы жизни, а жизнь в эти годы».

Совершенно верно. Это именно так, поэтому теперь, по прошествии многих лет, понимаешь, что слова «в конце концов» очень к месту.

Что было главным в жизни в те годы: события и наша реакция на них или внутренняя, личная жизнь? А в том-то и дело, что одно от другого не отъять, всё оказалось взаимосвязанным, а то и выстраивалось причинно-следственной цепочкой. К сожаленью или к счастью? Не знаю.

Вот тоскуешь по женщине, ее нет рядом, она неодолимо далеко, в другой стране, а ты любишь ее всё больше. Это как, почему? Это ты такой или она – такая? Не знаю. Я знаю только, что она даже не то что честная (это не то слово), а цельная, категоричная. Есть свет, и есть грех. На последнее она не способна. Счастливая ущербная личность. Любить такую

– обжечься святостью можно. Поэтому боязно приближаться. Вот и не приближаюсь – так у нас выходит.

Но почему тогда так выходит, что мы любим друг друга?

Вернемся в тогда.

Тогда был 71-й год, Московский кинофестиваль, знакомство с Карелом Черны, потом его знакомство с Петрой в Теплице на Бетховенском фестивале, потом эта история с отданным ему моим рассказом, потом, благодаря Карелу же, публикация рассказа с его фотографией за границей, в Австрии, потом моя благодарность ему по телефону, потом пересылка журнала Петре в Теплице, потом Петра, ответив, поздравила меня, написав, что она счастлива (а за псевдоним отдельное спасибо!) и что она молодец, верно подсказала мне про «пробуй Запад», и что такой же экземпляр журнала она получила еще и от Карела из Праги, так что теперь она богатая мной и новым другом Карелом, вот только тоскует, а вообще-то жизнь идет, она преподает с удовольствием и даже играет на рояле, но только дома и только для себя, потому что пальцы, пальцы... пальцы до конца не стали прежними, чтобы играть по-настоящему, исполнять на публике, ездить, побеждать...

Так настал следующий год, перед чем мы по традиции перезвонились – я в сочельник, Петра в новогоднюю ночь.

А потом она пропала. Точнее, пропали ее письма. Я написал одно письмо, другое, но ответов не получил. И забеспо-

коился. Решил позвонить, что, кроме как в Рождество, делал в исключительных случаях (деньги, деньги, ибо звонок за границу!). К телефону подошел пан Густав, сказал, что Петра позавчера уехала к друзьям в Прагу на недельку, поскольку сейчас в ее консерватории студенческие каникулы и в преподавании перерыв, но он обязательно передаст дочери по ее возвращении, что я звонил.

Ну хоть так. Значит, ничего не случилось, а то, что Петра развеется в Праге, это хорошо. (Знать бы мне, что там будет!)

А после того я и сам пропал из Москвы. «Известия» направили меня в долгую командировку по стране для написания серии очерков под пока условным названием «Культурная жизнь на периферии». Я многое увидел и узнал, посетив Ярославль (тамошний Театр имени Волкова), Куйбышев (Самару), Пермь (знаменитое балетное училище), Свердловск, Новосибирск и даже Хабаровск. В общем, широка страна моя родная, в этом довелось убедиться. Очерки, которые я писал в пути и гостиницах, а заканчивал после уже дома, получились вполне приличными, и я хорошо заработал, ибо командировочные плюс обычная зарплата – это раз, и премия на финале – это два. Но что более важно – я научился писать коротко, сжато, выделяя суть и не растекаясь по древу, поскольку всегда держал в уме заданный газетный объем. Это мне здорово помогло в дальнейшем, уже в личном творчестве, в прозе. Да, параллельно с журналистикой я писал для себя, однако «выход в свет» считал еще прежде-

временным; так я считал довольно долго, между прочим, и правильно делал.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.